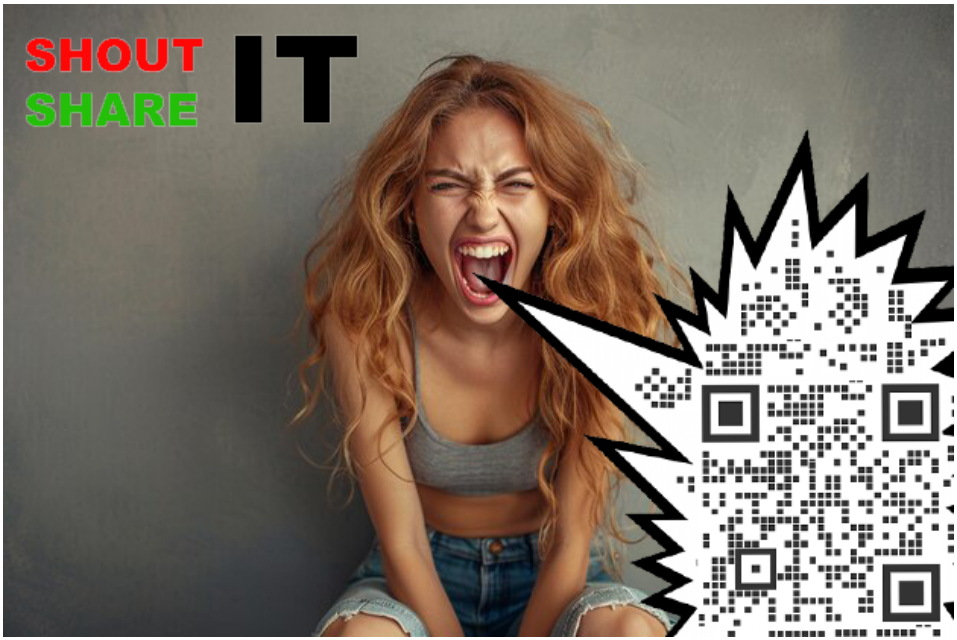
Я помню её такой...

Моя мать — Марина Цветаева

Ариадна Эфрон


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Дочь Марины Цветаевой и Сергея Эфрона, Ариадна, талантливая художница, литератор, оставила удивительные воспоминания о своей матери – родном человеке, великой поэтессе, просто женщине, со всеми ее слабостями, пристрастиями, талантом… У них были непростые отношения, трагические судьбы. Пройдя через круги ада эмиграции, нужды, ссылок, лагерей, Ариадна Эфрон успела выполнить свой долг – записать то, что помнит о матери, «высказать сокровенное». Эти мемуары долгие десятилетия открывают нам подлинную Цветаеву.

- Ариадна Сергеевна Эфрон
  -
  -
  - Попытка записей о маме
  - О Марине Цветаевой
    - Какой она была?
    - Как она писала?
    - Ее семья
    - Ее муж. Его семья
  - Из самого раннего
    -
    - Моя мать
    - Четырехлистник
    - «Кот в сапогах» Антокольского в Третьей студии Вахтангова
    - 1 мая 1919 года
    - Подвиг
    - В деревне
    - Вечер Блока
    - Юбилей Бальмонта
    - Лавка писателей
  - Страницы былого
    - Последний день в Москве
    - Берлин
    - Пастернак
    - Чехия
    - Переезд на чердак
    - Самофракийская победа
- notes
  - 1

- ○ 2
- ○ 3
- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29

Ариадна Сергеевна Эфрон
Моя мать – Марина Цветаева

© Эфрон А.С., 2016
© ООО «ТД Алгоритм», 2016

У меня плохая память, лишенная стройного порядка, присущего цветаевскому роду. Случаи, события, лица, хранящиеся в ней, не стоят на якоре дат и лишь приблизительно скреплены связующей нитью дней и лет. Вместе с тем помню я так много, что могла бы, если бы умела, написать страницами. Если бы умела. Но есть случаи, когда и неумелый обязан взяться за перо, а любовь и чувство долга обязаны заменить отсутствующий талант. Впрочем, так ли он необходим, когда пытаешься писать именно о таланте? Сумел же Эккерман обойтись без своего, одним гётевским!

Пройдут годы, придут люди, которым будет дано преодолеть преступное равнодушие времени, заставить его вернуть забытое, сказать умолчанное, воскресить убитое и попранное. В помощь этим людям я и пытаюсь записать то, что помню о матери – и о времени.

Попытка записей о маме

Первые мои воспоминания о маме, о ее внешности похожи на рисунки сюрреалистов. Целостности образа нет, потому что глаза еще не умеют охватить его, а разум – собрать воедино все составные части единства.

Все окружающее и все окружающие громоздки, необъятны, непостижимы и непропорциональны мне. У людей огромные башмаки, уходящие в высоту длинные ноги, громадные всемогущие руки.

Лиц не видно – они где-то там наверху, разглядеть их можно, только когда они наклоняются ко мне или кто-то берет меня на руки; тогда только вижу – и пальцем трогаю – большое ухо, большую бровь, большой глаз, который захлопывается при приближении моего пальца, и большой рот, который то целует меня, то говорит «ам» и пытается поймать мою руку; это и смешно, и опасно.

Понятия возраста, пола, красоты, степени родства для меня не существуют, да и собственное мое «я» еще не определилось, «я» – это сплошная зависимость от всех этих глаз, губ и, главное, – рук. Все остальное – туман. Чаще всего этот туман разрывают именно мамины руки – они гладят по голове, кормят с ложки, шлепают, успокаивают, застегивают, укладывают спать, вертят тобой, как хотят. Они – первая реальность и первая действующая, движущая сила в моей жизни. Тонкие в запястьях, смуглые, беспокойные, они лучше всех, потому что полны блеска серебряных перстней и браслетов, блеска, который приходит и уходит вместе с ней и от нее неотделим.

Блестящие руки, блестящие глаза, звонкий, тоже блестящий голос – вот мама самых ранних моих лет. Впервые же я увидела ее и осознала всю целиком, когда она, исчезнув на несколько дней из моей жизни, вернулась из больницы после операции. Больницу и операцию я поняла много времени спустя, а тут просто открылась дверь в детскую, вошла мама, и как-то сразу, молниеносно, все то разрозненное, чем она была для меня до сих пор, слилось воедино. Я увидела ее всю, с ног до головы, и бросилась к ней, захлебываясь от счастья.

Мама была среднего, скорее невысокого, роста, с правильными, четко вырезанными, но не резкими чертами лица. Нос у нее был прямой, с небольшой горбинкой и красивыми, выразительными ноздрями, именно выразительными, особенно хорошо выражавшими и гнев, и презрение. Впрочем, все в ее лице было выразительным и все – лукавым, и губы, и их улыбка, и

разлет бровей, и даже ушки, маленькие, почти без мочек, чуткие и настороженные, как у фавна. Глаза ее были того редчайшего, светло-ярко-зеленого, цвета, который называется русалочьим и который не изменился, не потускнел и не выцвел у нее до самой смерти. В овале лица долго сохранялось что-то детское, какая-то очень юная округлость. Светло-русые волосы вились мягко и небрежно – все в ней было без прикрас и в прикрасах не нуждалось. Мама была широка в плечах, узка в бедрах и в талии, подтянута и на всю жизнь сохранила и фигуру, и гибкость подростка. Руки ее были не женственные, а мальчишечьи, небольшие, но отнюдь не миниатюрные, крепкие, твердые в рукопожатье, с хорошо развитыми пальцами, чуть квадратными к концам, с широковатыми, но красивой формы ногтями. Кольца и браслеты составляли неотъемлемую часть этих рук, срослись с ними – так раньше крестьянки сережки носили, вдев их в уши раз и навсегда. Такими – раз и навсегда – были два старинных серебряных браслета, оба литые, выпуклые, один с вкрапленной в него бирюзой, другой гладкий, с вырезанной на нем изумительной летящей птицей, крылья ее простирались от края и до края браслета и обнимали собой все запястье. Три кольца – обручальное, «уцелевшее на скрижалях»[1], гемма в серебряной оправе – вырезанная на агате голова Гермеса в крылатом шлеме, и тяжелый, серебряный же, перстень-печатка, с выгравированным на нем трехмачтовым корабликом и, вокруг кораблика, надписью – тебе моя синпатія – очевидно, подарок давно исчезнувшего моряка давно исчезнувшей невесте. На моей памяти надпись почти совсем стерлась, да и кораблик стал еле различим. Были еще кольца, много, они приходили и уходили, но эти три никогда не покидали ее пальцев и ушли только вместе с ней.

Марина Цветаева. Феодосия. 1914 г.

В тот вечер, когда мама воплотилась для меня в единое целое, на ней было широкое, шумное шелковое платье с узким

лифом, коричневое, а рука, забинтованная после операции, была на перевязи, и даже перевязь эту я запомнила – темный кашемировый платок с восточным узором.

Самое мое первое воспоминание о ней – да и о себе самой: несколько ступеней – на верхней из них я стою, ведут вниз, в большую, чужую комнату. Все мне кажется смещенным, потому что – полуподвал. Лампочка высоко под потолком, а потолок – низко, раз я стою на лесенке. Не пойму, что ко мне ближе – пол или потолок. Мама там, внизу, под самой лампочкой, то стоит, то медленно поворачивается, слегка расставив руки, и смотрит вовсе не на меня, а себя оглядывает. Возле нее, на коленях, – женщина, что-то на маме трогает, приглаживает, одергивает, и в воздухе носятся, все повторяясь и повторяясь, незнакомые слова «юбка-клеш, юбка-клеш». В углу еще одна женщина, та вовсе без головы, рук у нее тоже нет и вместо ног – черная лакированная подставка, но платье на ней – живое и настоящее. Мне ведено стоять тихо, я и стою тихо, но скоро зареву, потому что на меня никто не обращает внимания, а я ведь маленькая и могу упасть с лестницы. Это, мама говорила, было в Крыму, и пошел мне тогда третий год.

Из того лета не осталось в памяти ни людей, ни вещей, ни комнат, где мы жили. Впервые возник в сознании папа – он был такого высокого роста, что дольше, чем мама, не умещался в поле моего зрения, и первое мое о нем воспоминание про то, как я его не узнала. Мама несет меня на руках, навстречу идет человек в белом, мама спрашивает меня – кто это, а я не узнаю. Только когда он наклоняется надо мной, узнаю и кричу – Сережа, Сережа! (В раннем детстве я родителей называла так, как они называли друг друга, – Сережа, Марина, а еще чаще – Сереженька, Мариночка!)

Еще помнятся мамины шлепки, за то, что я с крутого берега бросила свой новый башмачок прямо в море. Шлепки помню, а море – нет, оно было такое огромное, что я его не замечала.

Следующее лето в Крыму уже заполняется людьми, событиями, оттенками, звуками, запахами. Уже врезается в память белая, нестерпимо белая от солнца стена дома, красные розы, их сильный, почти осязаемый запах и их колючки. Уже различаю море и вижу горизонт, но чувства пространства еще нет: море для меня, когда стою на берегу, – высокая сизая стена. Я – ниже его уровня. – Понимаю, что море хорошо только с берега. Купаться в нем – ужасно.

Когда меня, крепко держа подмышки, окунают в шипящую волну, я заливаюсь слезами и визжу не переводя дыхания. Потом мама вытирает меня мохнатой простыней и стыдит, но мне все

равно, главное, что я – на суше. Чтобы приучить меня к купанью, моя крестная, Пра, мать Макса Волошина, бросается в море и плывет – прямо одетая. Когда она выходит на берег, с ее белого татарского халата, расшитого серебром, с шаровар и цветных кожаных сапожков ручьями льет вода. Но мне не смешно и не интересно глядеть на нее. Пра мне помнится очень большой, очень седой, шумной, вернее – громкой.

Временами рядом со мной возникает мой двоюродный брат Андрюша. Он – хороший мальчик, он – не боится купаться, у него чаще, чем у меня, сухие штаны, он хорошо ест манную кашу и даже глотает ее, он «слушается маму». Несмотря на то, что он так хорош, я все же люблю его на свой лад, мне нравится полосатый колпачок с кисточкой у него на голове, мне весело качаться с ним на доске, положенной поперек другой доски. Пусть мы с ним часто деремся, чего-то там не поделив, но я тянусь к нему, потому что чувствую в нем человека одной со мной породы: он так же мал и так же зависим, как я. Его так же, как и меня, куда-то уносят на руках в самый разгар игры, так же неожиданно, как меня, вдруг укладывают спать, или начинают кормить, или шлепают и ставят в угол. Он – мой единоплеменник и единственный настоящий человек в окружающем нас сонме небожителей.

Правда, первое наше знакомство вызвало у меня чувство настоящей ненависти. Это было, видимо, предыдущей зимой в Москве. В моей детской появился маленький белоголовый мальчик, в платьице и в красных башмачках. Это – говорит мама – твой брат Андрюша. «Мой брат Андрюша» неуверенно протягивает мне ручку, но я обе свои прячу за спину и начинаю больно наступать своими черными на его красные башмачки. Давлю изо всех сил, молча, сопя от зависти и гнева. У него – у него, у «брата Андрюши», а не у меня такие красивые красные башмачки! Мне нужно уничтожить их и раздавить, раз они не мои. Андрюша отступает, я наступаю – и все ему на ноги. Андрюша вцепляется мне в волосы, я с наслаждением – ему в лицо. Нас разнимают мамы – моя и его, нас хлопают по рукам, я воплю от досады, от неуменья выразить обуревающие меня страсти – у меня еще нет слов, и я не могу объяснить, что красные башмачки должны быть моими или пусть их вовсе не будет!

Именно этим крымским летом выясняется, во-первых, что я труслива – Пра подарила мне ежика, но страх и отвращение мое перед его колючками сильнее умиления перед тем, что он, не в пример мне, умеет пить молоко из блюдечка. Все гладят ежа – и мама, и Пра, Андрюша даже вперед забегает, – а я не могу заставить себя протянуть руку – к этому сгустку колючек, сам

воздух вокруг них, кажется мне, колется!

Во-вторых, выясняется, что я совсем не умею есть. Я способна только жевать, жевать до бесконечности, но проглотить эту жвачку не в состоянии и старательно выплевываю ее. С борьбы с этими моими двумя первыми недостатками и начинает мама свою «воспитательную работу» – и на долгие годы. Она борется с моей трусостью увещеваньями, наказаньями, а с водобоязнью – просто купаньем – но обе мы стойки и не сдаем позиций.

– Ты боялась погладить ежика? Бог тебя наказал – теперь ежик сдох, понимаешь? умер, ну, уснул и никогда не проснется. Нет, разбудить его нельзя. Теперь ты и хотела бы его погладить, а уж поздно. Бедный, бедный ежик! – А все потому, что ты – трусиха!

Я горько плачу, долго, долго помню – да и по сей день не забыла, как ежик, подаренный мне Пра, сдох, умер, уснул навсегда из-за того, что я побоялась погладить его. Но все же не уверена, что заставила бы себя к нему прикоснуться, даже если бы наказавший меня Бог воскресил его тогда, снизойдя к моему горю.

А ела я в детстве действительно ужасно. Жевала, рассеянно глазея по сторонам или боязливо вперясь в маму, уже рассерженную, жевала, цепенея от сознания, что все это нужно проглотить – и не глотала. Жевала до последнего предела – а потом выплевывала. Плевалась, зная, что кара неизбежна, шла на нее с ослиным упрямством и христианским смирением.

Плевалась до того, что мама раздевала меня догола, вешала мне на шею салфетку с вышитой красными нитками кошачьей головой и надписью «Bon appetit» – подарок маминой сестры Аси – и, сама надев фартук, садилась напротив моего высокого стульчика с тарелкой манной каши и ложкой в руках. В кормлении моем принимали участие многие, каждый говорил, что в жизни не видывал такого случая, но тем не менее советы давали все. Пра, которую мама уважала и слушалась, советовала не кормить меня вовсе, пока я сама, проголодавшись, не попрошу есть. Мама согласилась. Лето было жаркое, я все пила молоко – три дня только молоко пила, а есть так и не попросила, так и не проголодавшись. На четвертый день мама сказала, что не согласна быть свидетелем гибели собственного ребенка, и вновь я сидела голая с салфеткой под подбородком и не могла проглотить ничего, кроме собственных слез.

(Много, много дет спустя, двадцатитрехлетней девушкой вернувшись в Советский Союз, я работала в жургазовской редакции журнала «Ревю де Моску». Телефонный звонок. «Ариадну Сергеевну, пожалуйста!» – «Это я». – «С вами

говорит Елена Усиевич[2]. Вы помните меня?» – «Нет». – «Да, правда. Вы тогда были совсем маленькая… Как вы живете, как устроились?» – «Хорошо, спасибо!» – «А как едите?» – «Да я, собственно, достаточно зарабатываю, чтобы нормально питаться», – отвечаю я, озадаченная такой заботливостью. – «Ах, я вовсе не про то, – перебивает меня Усиевич, – едите как? Глотаете? Вы ведь в детстве совсем не глотали… Я до сих пор не могу забыть, как вы сидели голышом, с головки до ног перемазанная кашей, которой вас кормила М<арина> И<вановна>! И вот теперь узнала, что вы приехали, и решила вам позвонить, узнать…»)

Дом, в котором проходили мамины молодые и мои детские годы, уцелел и поныне. Это – двухэтажный с улицы и трехэтажный со двора старый дом номер 6 по Борисоглебскому переулку, недалеко от Арбата, от бывшей Поварской и бывшей Собачьей площадки. Тогда напротив дома росли два дерева – мама посвятила им стихи «Два дерева хотят друг к другу» – теперь осталось одно, осиротевшее. В квартиру № 5 этого дома мы переехали из Замоскворечья, где я родилась. Квартира была настоящая старинная московская, неудобная, путаная, нескладная, полутораэтажная и очень уютная. Две двери из передней вели – левая в какую-то ничью комнату, с которой у меня не связано никаких ранних воспоминаний, правая – в большую темную проходную столовую. Днем она скудно и странно освещалась большим окном-фонарем в потолке. Зимой фонарь этот постепенно заваливало снегом, дворник лазил на крышу и выгребал его. В столовой был большой круглый стол – прямо под фонарем; камин, на котором стояли два лисьих чучела, о которых еще речь впереди, бронзовый верблюд-часы и бюст Пушкина. У одной из стен – длинный, неудобный, черный – клеенчатый или кожаный, с высокой спинкой – диван и темный большой буфет с посудой.

Вторая дверь из столовой узким и темным коридором вела в маленькую мамину комнату и в мою большую детскую. В детской, самой светлой комнате в квартире, – три окна. Окна эти в памяти моей остались огромными, с пола до потолка, такими блестящими от чистоты, света, мелькавшего за ними снега! Недавно, войдя во двор нашего бывшего дома, убедилась в том, что на самом деле это – три подслеповатых и – тусклых оконца. Такие они маленькие и такие незрячие, что не удалось им победить, затмить в моей памяти тех, созданных детским восприятием и дополненных детским воображением!

Налево от двери стояла черная чугунная печка-колонка, отапливавшаяся углем, за ней большой и высокий, до потолка,

книжный шкаф, в котором стояли детские книги моей бабушки, М. А. Мейн, мамины и мои. В самом нижнем отделении шкафа жили мои игрушки, их я могла доставать сама, а книги мне всегда доставала и давала мама. К шкафу примыкала изножьем моя кроватка с сеткой, а изголовьем – к сундуку очередной няни. Ни больших столов, ни взрослых стульев в этой комнате не помню – однако, они должны были быть. Помню мягкий диван между крайним окном и дверью. Помню картины в круглых рамах – копии Греза, одна из них – девушка с птичкой. Над моей кроватью был печальный мальчик в бархатной рамке. Какие-то из этих картин – а может быть, и все они – были работы бабушки Марии Александровны. Детская была просторна, ничем не загромождена.

Выйдя из детской все в тот же узкий темный коридорчик, проводя рукой по левой его стене, можно было нащупать дверь в мамину комнату. Это была единственная на моей памяти настоящая мамина комната – не навязанный судьбой угол, не кратковременное убежище, за которое скоро нечем будет платить и которое придется сменить на другое, почти такое же, только рангом ниже и этажом выше…

Комната была небольшая, продолговатая, неправильной формы в виде буквы «Г», темноватая, т. к. окно было прорезано почти в углу короткой ее стороны – мешала смежная стена детской. Почти весь свет этого окна поглощался большим письменным столом. Справа на столе, вдоль короткой стенки закоулка, в котором помещался стол, стояли рядком книги, лежали тетради, бумаги. Среди безделушек (впрочем, «безделушки» самое неподходящее для маминого письменного стола слово! То были не безделушки, а вещи с душой и историей, далеко не случайные и не всегда красивые) – среди вещей, за которыми я, маленькая, жадно и бесполезно тянулась, быта высокая, круглая, черного лака коробочка с перьями и карандашами, называвшаяся «Тучков-четвертый»[3], потому что на ней был прелестный миниатюрный портрет этого двадцатидвухлетнего генерала, героя 1812 г. – в алом мундире и сером плаще через плечо. Очень соблазнительным было пресс-папье бабушки Марии Александровны – две маленьких металлических руки, выглядывавших из кружевных манжет, скрывавших пружину, две темных руки, цепко сжимавших пачку писем. Боязнь и любопытство вызывала странная черная фигурка Богоматери, когда-то привезенная дедом Иваном Владимировичем Цв<етаевым> из Италии. Это была средневековая Мадонна с лобастым личиком и широким разрезом невидящих глаз, величиной с ладонь, тяжелая, то ли чугунная, то

ли железная. В животе фигурки открывалась двустворчатая дверка – Богоматерь оказывалась внутри полая и вся утыканная острыми шипами. – В средние века, – рассказывала мама, – в Италии была такая статуя – выше человеческого роста. В нее запирали еретиков – закрывали дверцу, и шипы пронзали их насквозь. Средние века, Италия и еретики были для меня понятиями весьма туманными, но, глядя на шипы и трогая их пальцем, я всей душой восставала против средневековой Италии и такой Божьей Матери – за еретиков!

Между столом и дверью находилось углубление, вроде ниши, задергивавшееся синей занавеской. На одной из полок лежала, завернутая в шелковый платок, белая гипсовая маска, снятая с папиного умершего от туберкулеза брата Пети. Прекрасное спящее это лицо, такое измученное и такое спокойное, похожее на папино, всегда вызывало у меня нежность и жалость. Я часто просила маму «показать мне Петю» и целовала сомкнутые, грустные, прохладные губы и закрытые большие-большие прохладные глаза.

Борисоглебский переулок, 6. Теперь здесь Дом-музей Марины Цветаевой.

Дочери Марины Цветаевой – Ариадна и Ирина. «Старшую у тьмы выхватывая – младшей не уберегла…»

«Он тебя знал, – говорила мама, – а ты его не помнишь. Он тебя любил. У него была маленькая дочка, которая умерла. У него была жена-танцовщица, которая его не любила…»

Дочка, которая умерла? Танцовщица, которая не любила? Как это все непонятно! Как можно умирать? Как можно не любить?

На полках было много всяких интересных вещей – морские звезды, раковины, панцирь черепахи – и стереоскоп и множество двойных фотографий к нему – Крым, мама, папа. Макс, Пра, мы с Андрюшей, еще всякие знакомые и просто виды. В стереоскопе все выглядело настоящим, совсем живым, хоть и неподвижным.

Стена по правую сторону двери была свободна, возле нее ничего не стояло, кроме старого вольтеровского кресла, к ней можно было подходить вплотную и водить пальцем по розам светлых обоев. Можно было погладить висевшую на ней красиво выделанную серо-голубую шкурку, подбитую красным сукном и отороченную суконными же зубчиками. Это – шкурка маминого любимого кота Кусаки, которого она привезла крохотным котенком из Крыма, везла 3 суток, за пазухой блузки-матроски. Кусака был умный, все понимал, как собака, и даже лучше. Он был настолько умен, что даже понимал назначение моего ночного горшочка и лучше, чем я сама, – с превеликим трудом и старанием пользовался им, цепляясь всеми четырьмя лапами за скользкие эмалированные его края. Вороватая кухарка, которую мама уволила, в отместку отравила Кусаку. Издыхающий Кусака,

весь в пене, с всклокоченной, потускневшей шерстью, приполз через всю квартиру к маме – прощаться – и так и умер у нее на руках. Мама плакала навзрыд, я тоже голосила, а потом мы сели на извозчика и повезли дохлого Кусаку к скорняку. Тот предложил увековечить кота «как живого» – чтобы он вроде как бы крался за птичкой по ветке вроде как бы настоящего дерева! Несмотря на то, что птичку скорняк предлагал совершенно даром, в виде премии, мама не согласилась уродовать нашего Кусаку – и вот он превратился в эту самую шкурку, висящую на стене.

(Помню, еще до всякого кухаркиного вмешательства Кусака как-то раз заболел – ветеринар выписал рецепт, который мама долго хранила как образец непрофессионального стихотворства. Рецепт кошачьей микстуры гласил:

«Каждый час по чайной ложке Кошке – Госпожи Эфрон».)

Еще на стене висели небольшие, цветные, очень мне нравившиеся репродукция Врубеля – помню «Пана», «Царевну-Лебедь».

На противоположной стене был большой папин портрет, написанный приятельницей моих родителей, художницей Магдой (спросить у Лили фамилию) во время папиной болезни. Папа полулежал в кресле, с книгой в руке, ноги его были закутаны пледом. Фон портрета был ярко-оранжевым, то ли занавес, то ли условный закат…

Висел портрет над широкой и низкой тахтой, покрытой куском восточного в лиловато-зеленую расплывчатую полосу шелка, такого, из которого в Узбекистане и до сих пор шьют халаты. С потолка спускалась синяя хрустальная люстра с тихо звеневшими длинными гранеными подвесками, очень старинная и красивая. На полу, прямо под люстрой, лежала волчья шкура, казавшаяся мне по ее и моей величине медвежьей. Приятно было совать кулачок в разинутую волчью пасть и знать, что волк тебя не укусит, хоть клыки у него и настоящие!

От изголовья тахты до стены с Кусачьей шкуркой все пространство занимал огромный старинный секретер, из которого мама иногда доставала музыкальную шкатулку, довольно тяжелую, темного дерева с инкрустациями. Она играла несколько грустных, медленных пьесок, отчетливо выговаривая мелодию. Крутились медные валики с шипами, задевавшими за зубья металлического гребешка, весь механизм добывания музыки из валиков и нотных картонок с прорезями был очевиден, но шкатулка оставалась таинственной и волшебной. Помимо музыкальной шкатулки у мамы была еще и настоящая старая шарманка, купленная у настоящего старого шарманщика. И мама, и папа, и их молодые гости с увлечением крутили ручку

шарманки, игравшей с хрипом и неожиданными синкопами «Разлуку».

Для того чтобы попасть на второй этаж квартиры, нужно было проделать весь путь обратно, через темный коридор в столовую, оттуда в переднюю, и, попав в другой коридор, подняться по довольно высокой и крутой лесенке. Лесенка оканчивалась площадкой, хорошо освещенной окном; на нее выходили двери большой кухни, куда мне, маленькой, ход был запрещен, ванной, чулана и уборной. Еще один, последний, коридорчик вел мимо маленькой комнаты (где всего только и умещалось, что кровать с ничем не покрытым матрасом, стол, стул и бельевой шкаф) в папину большую и не очень светлую, т. к. часть ее тоже кончалась каким-то закоулком; папину комнату я помню не очень отчетливо, т. к. в ней я бывала редко – из детской легко можно было забраться к маме или в столовую, а тут нужно было преодолевать лестницу, миновать запретную кухню, и вообще это было целое путешествие, на которое я отваживалась только после специального приглашения.

В папиной комнате была тахта у левой от двери стены, справа, у окна, стол письменный, в глубине – круглый, буфет, в котором жило печенье «Альберт» и «Мария» и еще какао в жестянке с голландской девочкой – неразрывно связанное в моей памяти с О. Э. Мандельштамом – но об этом позже!

Когда я бывала в гостях у папы, меня сажали за круглый стол, «угощали» печеньем, и оттого, что оно, такое знакомое и невкусное в детской, было «угощеньем», я с удовольствием и даже торжественностью ела его. Здесь как-то на Пасху подарили мне настоящую игрушечную Троице-Сергиеву лавру – целый ящик розовых домиков и церквушек – одноглавых и многоглавых – до этого у меня были только кубики, и, помнится, я была совершенно потрясена этим игрушечным городком, который можно было видоизменять по своему желанию. Лавра эта была у меня до самого отъезда за границу, когда мама меня уговорила подарить ее маленькому Саше Когану, потому что решила, что Саша – сын Блока (Блок, как говорили, был увлечен женой Петра Семеновича)… Я, очень легко дарившая игрушки, легко подарившая и эту и вообще ничуть не жадная, долго потом жалела свою «Лавру» и вспоминала о ней. К тому же Саша оказался всего-навсего сыном своего законного отца…

По нашей Борисоглебской квартире долго еще будет плутать моя память, цепляясь, как шипы валика музыкальной шкатулки, за многое, происходившее в тех комнатах, но с маленькой комнаткой, расположенной рядом с папиной, у меня связано только три ранних воспоминания, о которых и расскажу сейчас,

чтобы больше в нее не возвращаться. Мы с моей тетей, папиной сестрой Верой, почему-то сидим на полосатом матрасе нежилой кровати и разговариваем. Вера спрашивает: «Ты меня любишь?» – «Ужасно люблю», – отвечаю я. «Ужасно люблю – не говорят, – поправляет меня Вера, – ужасно – значит очень плохо, а очень плохо – не любят. Надо сказать – очень люблю!» – «Ужасно люблю», – упрямо повторяю я. «Очень!» – говорит Вера. «Ужжжасно люблю», – уже со злобой повторяю я. Входит мама. Бросаюсь к ней: «Мариночка, Вера сказала, что ужасно любить нельзя, что ужасно люблю – не говорят, что можно только – очень люблю!» Мама берет меня на руки. «Можно, Алечка, ужасно любить – ужасно любить – лучше и больше, чем просто любить или любить очень!» – говорит мама и раздувает ноздри – значит, сердится на Веру.

Почему я так запомнила этот полосатый матрас? Потому что однажды нашла на нем настоящую конфетку! Никого, кроме меня и матраса, в тот миг в комнате не было, значит, в чуде повинен матрас, значит, на каждом матрасе бывают конфеты! И не раз я, к удивлению няни, перекапывала свою постельку в детской и сердилась, ничего не найдя! Найденная конфета была моей тайной, о ней я даже маме не сказала, и, может быть, именно поэтому другой конфеты никогда не находила.

Третье воспоминанье – за столом в маленькой комнатке сидит молоденькая, румяная, приветливая женщина, которую зовут «домашней портнихой». На ручной машинке она подрубает простыни и рассказывает маме, как она, девочкой, заснула и не могла проснуться, слышала, как приходил доктор и сказал, что она умерла, чувствовала, как ее положили в гроб, слышала и плач матери, и заупокойную службу, а проснуться все не могла. «Летаргический сон! – говорит мама. – Ведь вас же могли заживо похоронить!» Я цепенею от ужаса – похоронить – значит закопать в землю! Закопать в землю живую спящую домашнюю портниху! – «А что было дальше?» – с трепетом спрашиваю я. Мама вспоминает обо мне: «Эта сказка не для тебя!» – и уводит меня из комнаты. «Мариночка, ее заживо похоронили?» – «Да нет же, она проснулась и, видишь, сидит и шьет…» – «Мариночка, а куда гроб девали?» – «Не знаю, – говорит мама. – Наверное, подарили кому-нибудь». Я успокаиваюсь. Что такое гроб и похороны, я хорошо знаю, одна из моих, недолго у нас заживавшихся, нянь, та самая, у которой «сын на позициях», из-за чего она почему-то иногда плачет, часто тайком вместо прогулки водит меня в церковь – на похороны и заставляет прикладываться к чужим покойникам. Это, в общем, интереснее прогулки, т. к. Собачья площадка всегда одна и та же, а покойники – разные. К тому же они для меня

нечто вроде церковной утвари, такая же непонятная и, видимо, необходимая для церкви принадлежность! Мне всегда очень хочется рассказать об этом маме, поделиться удовольствием, но детская память коротка, на обратном пути я все забываю. Тот единственный раз, что не забыла, оказался для няни роковым – мама немедленно рассталась с ней…

Сколько комнат было в нашей квартире – столько и миров, и разделявшие их границы легко и по собственной воле перешагивали только взрослые. От меня эти миры были ограждены многочисленными «нельзя», и первым из этих запретов был запрет вторгаться в жизнь старших. Но даже тогда, когда меня в нее допускали, «нельзя» продолжали преследовать меня – и только меня одну. Бывали дни, когда меня сажали за общий стол; взрослые – а их немало собиралось за нашим круглым столом – разговаривали, спорили, смеялись – движения их были свободны и голоса громки; на тарелках взрослых была какая-то другая, особенная еда. Они чокались красивым вином в красивых бокалах. А я должна была есть ненавистный шпинат или гречневую кашу, голубую от молока, причем есть «помогая себе корочкой», а не пальцами. Мне нельзя было «перебивать старших» и вмешиваться в их разговор, болтать ногами или опускать руку под стол, чтобы погладить дежурившего там пуделя Джека, а участие мое в застольной беседе обычно сводилось к словам «спасибо» и «пожалуйста». Такое положение вещей ничуть меня не тяготило, и, несмотря на то, что в детской я обретала полную свободу грубить няне, бегать, вопить и озорничать, свобода эта меня не привлекала: слишком пленительна была жизнь взрослых, и, чтобы прикоснуться к ней, я готова была вся, целиком, с головой влезть в китайскую туфельку «хорошего поведения».

«Хорошим поведением» ведала мама, и нельзя было даже помышлять о том, чтобы девочка, которая себя плохо вела, осмелилась проникнуть в ее комнату.

Мамина комната была праздником моего детства, и этот праздник нужно было заслужить. Он начинался, как только я переступала порог: для меня заводилась музыкальная шкатулка, мне давали покрутить ручку шарманки, мне позволяли поиграть с черепашьим панцирем, поваляться на волчьей шкуре и заглянуть в стереоскоп. Папа брал меня на колени и рассказывал такие сказки, каких никто больше не знал. Особенно я любила сказку про разбойников, но ее почему-то папа никогда не рассказывал в мамином присутствии. Сказка была такая: «Вот как-то раз девочка Аля осталась дома совсем одна… Папа ушел, и мама ушла, и няня ушла, и Джек ушел… Узнали про это разбойники. Вот вошли

разбойники в дом. Вот они идут по лестнице. Вот они открыли дверь – смотрят: а где тут девочка Аля? Вот они вошли в переднюю – пошли сперва на кухню, а из кухни в ванную, а в руках у них ножи… («Булатные?» – дрожа, спрашиваю я. «Булатные», – эпическим тоном подтверждает папа.) …ищут они девочку Алю… Вот они вошли в папину комнату… смотрят под диваном – нет девочки Али! Смотрят в буфете – нет девочки Али! Смотрят в шкафу – нет девочки Али! Тогда выходят они из папиной комнаты… («Нет! нет! – в ужасе кричу я, т. к. мне необходимо во что бы то ни стало подольше задержать разбойников на верхнем этаже. – Еще не выходят! Они еще под роялем не смотрели!»)…Смотрят под роялем – нет там девочки Али! Тогда они идут в столовую… («Нет, нет, не в столовую! Они еще в уборной не были!») – Ах да, – невозмутимо продолжает папа. – Смотрят они в уборной – нет там девочки Али…»

Еще на стене висели небольшие, цветные, очень мне нравившиеся репродукции Врубеля – помню «Пана», «Царевну-Лебедь»

Мучительное путешествие разбойников продолжалось долго. С каждым шагом, неотвратимо, приближались они к детской, где пряталась девочка Аля. Напряжение и страх все нарастали – но

папу это ничуть не волновало. Он не боялся, его-то ведь дома не было и не его искали разбойники!..»Вот они идут по коридору… все ближе-ближе… вот разбойник берется за ручку двери… вот – он – открывает – дверь…» Не выдержав, я визжу, и папа, сам почему-то оглядываясь на дверь, успокоительной, бодрой скороговоркой подводит сказку к счастливому, хоть и кровопролитному концу: «Но в это время как раз вернулся домой папа»… («И убил всех разбойников!» – в восторге завершаю я.) – «И убил всех разбойников», – подтверждает он. Какое счастье, какое освобождение! Я – спасена!

За исключением этой, все папины сказки были добрые и уютные. И сам папа был такой добрый и такой «лучше всех», что я решила выйти замуж только за него, когда вырасту.

На одной из полок с маминым сокровищами лежали три бабушкины детские книги – г очевидно, самые любимые ею или по каким-то иным признакам самые ценные, т. к. мама их хранила у себя, отдельно от тех, которые находились в книжном шкафу, стоявшем в детской. Это были «Сказки Перро», и «Священная история» с иллюстрациями Гюстава Доре, и однотомник Гоголя, все три большого формата и в тяжелых переплетах. Еще не умея читать – я уже умела – на всю жизнь! – обращаться с книгами, ибо «нельзя» маминого воспитания в первую очередь относились к ним. Нельзя было браться за книгу, не вымыв предварительно руки, нельзя было перелистывать страницы, берясь за нижний угол, – только за верхний правый! и уж, конечно, нельзя было слюнявить пальцы, и заворачивать углы, и, самое для меня трудное, – ни в коем случае ничего не добавлять к иллюстрациям!

Сказки Перро, упрощая их, рассказывала мне мама, а показывал Доре. До сих пор вижу, как бредет Мальчикс-Пальчик в темном лесу среди деревьев с неохватными стволами и кудрявыми вершинами, вижу спящих с коронами на голове дочерей людоеда, пир в замке принца Хохлика, куда-то далеко едущую при свете месяца красавицу Ослиную Кожу.

Впрочем – рассказывали не только мне – рассказывать должна была и я сама – уметь передать своими словами услышанную сказку или объяснить то, что было изображено на картинках. Очень привлекали меня иллюстрации к Гоголю – по несколько подробных, мелких картинок на одной странице. О смысле и содержании их я должна была догадываться сама – Гоголя мне еще не рассказывали, он был недоступен моим 3–4 годам. «А это что? а это кто? а что он делает?» – спрашивает мама, я же, подыскивая сходство с чем-нибудь уже мне знакомым, отвечаю. Так, картинке, на которой были изображены Хома Брут,

читающий над панночкой, сама панночка, бесы и летающая над ними крышка гроба, я дала следующее прозаическое толкование: «А это барышня просит у кухарки жареных обезьян». (Барышня – панночка, кухарка – Хома, крышка гроба – плита, бесы – жареные обезьяны.)

Один раз елку устроили в маминой комнате, и тогда, именно в тот раз, я впервые почувствовала, что радость где-то граничит с печалью; так хорошо, что почти грустно – почему? Та елочка была не такая уж большая – хоть и до потолка, но стояла не на полу, а на низеньком столике, покрытом голубым с серебряными звездами покрывалом; на серебряные звезды тихо капал разноцветный воск. Над каждой витой свечой дрожало и чуть колебалось золотое сердечко огня. И вся елка в сияньи своем казалась увеличенным язычком пламени невидимой свечи. Запах хвои и мандариновой шкурки; тепло, свет, множащийся и отражающийся в глазах взрослых. Было много глаз в тот сочельник, много гостей, но из глаз мне запомнились все те же самые любимые: – ярко-зеленые мамины, огромные серые папины; – а из гостей помню одну Пра и из всех подарков – привезенную ею из Крыма самодельную шкатулочку из мелких ракушек.

То была не первая елка, оставшаяся в памяти. Первая была… первая еще не граничила с грустью! Дверь в детскую, куда меня в тот день не пускали, вдруг открылась, и предо мною предстала огромная пирамида блеска, света, сверкающих мелочей, связанных в единое целое переливающимся серебром нитей и гирлянд. – «Что это?» – спросила я. «Елка!» – сказала Марина. «Где елка?» – спросила я, за всем этим блеском не разглядев дерева. И так и окаменела на пороге. Мама за руку подвела меня к елке, сняла с нее шоколадный шар в станиолевой обертке и подала мне – но елка от этого не стала мне ближе, и шоколаду не хотелось. Я была ошеломлена и даже подавлена. – «Пойди к гостям, поздоровайся», – сказала мама, и только тут, осмотревшись, я увидела, что вдоль стен на стульях сидели гости – много, и все взрослые, и все знакомые. Я покорно пошла здороваться с каждым за ручку, и каждого угощала своей шоколадкой, и все почему-то смеялись, глядя на меня.

Все это было непонятно, и я не могла сбросить с себя оцепенения, вызванного непривычным. И вдруг все изменилось, чудо стало реальностью, обрело смысл, получив свое подтверждение в еще одном чуде. Дверь открылась, и в нее, со словами «опоздал, опоздал!», вошел веселый, необычайно милый старик с длинной седой бородой. Папа и мама поспешили к нему навстречу, поспешила, вдруг расколдованная, и я. Старик взял

меня на руки, весело расцеловал, борода у него была мягкая, от нее еще веяло уличным холодом. «Здравствуй, здравствуй, – сказал он мне, – а ты меня помнишь?» – «Помню, – твердо сказала я, – Вы – Дед Мороз!» И опять все засмеялись, а громче всех – «Дед».

Это был пришедший к нам в гости старый друг нашей семьи – друг еще бабушки моей Елизаветы Петровны Дурново, П. С. Кропоткин.

Что было на следующий день? Что бывает на следующий после праздника день? Не помню – стоит в памяти одинокая елка – без вчера и без завтра, и держит меня на руках веселый Дед Мороз, и стоят возле нас и смеются веселые, счастливые папа и мама, Сережа и Марина… И все. Сидим в столовой, обедаем за круглым нашим столом, собственно, только начинаем обедать – только что подали суп. Вдруг треск, короткий грохот, за ним дребезг, разверзается небо, и на стол, на самую его середину, падает наш черный пудель Джек. Все, как по команде, вскакивают, а Джек, разбрасывая лапами приборы и куски хлеба, в звоне битой посуды и катящихся по полу салфеточных колец, спрыгивает со стола и с поджатым хвостом убегает в детскую. За ним тянется след вермишели и бульона. Секунда всеобщего молчания, потом говор, хохот, смятение…

Где-то на чердаке Джек нашел лазейку, через которую выбрался на крышу, и, бегая там, угодил в потолочное окно нашей столовой. Рама подалась под его тяжестью, и Джек рухнул прямо на стол, к счастью, ничего себе не повредив и перебив сравнительно немного посуды.

Мама рассказывала, что я выучилась ходить, держась за хвост Джека, – он терпеливо водил меня за собой по всей детской. Джек был угольно черный, конечно, стриженый по пуделиной моде, умница и добряк. Загубила его все та же крыша – как-то он опять залез на нее, заметили его мальчишки, стали дразнить. Джек бросился на них прямо с крыши и разбился.

Я болею. Я лежу в кровати среди бела дня, и мне не разрешено вставать. Мама привела в детскую рыжего с проседью доктора Ярхо, который еще ее лечил, когда она была маленькая. Это ничуть не мешает мне вопить не своим голосом, когда он выслушивает меня и стучит по моей спине холодными пальцами. У меня воспаление легких. Это очень хорошо – папа и мама все время играют со мной, мерят мне температуру и рассказывают сказки.

Вечером, когда они думают, что я заснула, они уходят. Но я не сплю, это няня спит, я только на минутку закрыла глаза.

Из запечного сумрака вылезает медведь. Он там живет. Он

подходит к моей кровати и начинает меня катать лапами, как кухарка – тесто. Я кричу – но напрасно… Няня спит, и в детской – все по-прежнему, все вещи на своих местах, горит лампа в углу, няня спит, – а меня катает медведь. Но вот скрипнула дверь, медведь мгновенно скрывается за печкой. – «Что ты? что с тобой? – спрашивает мама. – Что тебе приснилось?»

Какое там приснилось! Я вся в поту и долго не могу из валика, в который меня скатал медведь, опять превратиться в девочку.

Вообще-то я – тихий и хорошо воспитанный ребенок, но иногда – кажется, довольно редко, на меня находит злоба и буйство, я что-то требую, о чем-то спорю, топаю ногами. – «Э, – говорит папа, – да это к тебе Каприз пришел! Сейчас мы его выгоним!» Он достает из моего кричащего рта «Каприз» – такой маленький, что я не могу даже рассмотреть его, разжимает пальцы, дует на них, и Каприз улетает под потолок или в открытую форточку. Я успокаиваюсь и рада, что от него избавилась. А мама не всегда помнит, что виноват Каприз, и иногда вместо него почему-то наказывает меня – ставит в угол, и тогда Каприз еще долго бушует во мне, пока я о нем сама как-то не забуду.

У мамы есть знакомая, Соня Парнок – она тоже пишет стихи, и мы с мамой иногда ходим к ней в гости. Мама читает стихи Соне, та ей свои, а я сижу на стуле и жду, когда мне покажут обезьянку. Потому что у Сони Парнок есть настоящая живая обезьянка, которая сидит в другой комнате на цепочке. Обезьянка – темно-коричневая, почти черная, у нее четыре руки с настоящими ладонями. Личико у нее подвижное, почти человеческое, и в этом «почти» – самое привлекательное и страшное. Соня говорит, что обезьянка очень умная – однажды забыли спрятать ключ от замка, на который запирается цепочка, мартышка схватила его, открыла замок, освободилась от цепочки, поймала кошку, которую ненавидела за то, что та не сидела на привязи, и маникюрными ножницами остригла ей все когти, а потом выкупала ее в помойном ведре. Этими же ножницами обезьянка проколола глаза на всех портретах, висевших в комнате, – может быть, для того, чтобы они не видели расправы с кошкой? Но почему все это называется «умная обезьяна»?

Я – первый раз в цирке. Нехорошо пахнет и очень много народа. Сижу притихшая и не свожу глаз с лож – ложи висят в воздухе – как люди влезают туда, и, главное, как они вылезают? Неужели – прыгают? Ведь нигде – никаких лестниц. Боже, как хорошо, что мы сидим совсем в другом месте, а ведь могли попасть и туда, как те несчастные, и как бы мы дальше жили,

папа, мама и я? Ведь уйти-то нельзя? Перед моим носом что-то происходит, какие-то лошади бегают, какие-то люди кувыркаются, но все это – на земле, я за них не беспокоюсь – вот те, что в ложах, что с ними будет? Где они будут спать и что есть? Как им помочь? Я пытаюсь посоветоваться с папой и с мамой, но, оказывается, здесь вдобавок и разговаривать нельзя… Только однажды сочувственное мое внимание отвлекается от лож – когда молодые люди в темных тужурках с блестящими пуговицами выводят на арену каких-то зверей. Я сейчас же узнаю и тех и других: «Студенты со львами! – кричу я в восторге, – студенты на львах катаются!» Львов я очень хорошо знаю по картинкам в книжках, и мне ли не узнать студентов, если и мой папа и его товарищи ходят в таких же тужурках с такими же пуговицами!

«Аля, ешь курицу!» – «Я не могу, Мариночка!» – «Аля, ешь курицу!» – «Мариночка, она противная!» – «Это не она противная, а ты противная. Жуешь, жуешь… глотай сейчас же!» – «Я не могу, Мариночка!» – «Не можешь? Слушай, что я тебе скажу. Если ты сейчас же, вот сию же минуту, не проглотишь, у тебя вырастет куриная голова! Слышишь?» – «Слышу, Мариночка!»

Но кто-то отзывает маму, я быстро выплевываю куриную жвачку в кулак и отдаю кошке, которая давно ходит вокруг моего стула и со стуком трется о него головой. Мама возвращается. – «Ну что, проглотила?» – «Проглотила, Мариночка! – Честное слово!» – «Ну смотри! а то вырастет куриная голова…»

Я мрачно возвращаюсь в детскую и щупаю свою голову. Кажется, начинается. Ну конечно, уж затылок какой-то не такой. Интересно, какая вырастает, вареная или сырая? Куриная-то голова, в общем, ничего, если дома сидеть. Ведь дома все будут знать, что это я. Может быть, даже любить будут. И вдруг – обжигающая стыдом мысль: а как же, если я поеду на извозчике?!

На несколько дней в детскую поместили большое зеркало. «Пусть пока постоит у Али», – сказала Марина. Из зеркала на меня смотрит другая девочка, и эта девочка – я сама. Но так не бывает. Когда рядом с той, другой, в зеркале появляется моя Марина, в этом нет ничего удивительного. Марину я всегда вижу со стороны, снаружи, а я – это я, и чувствую себя изнутри. Чувствовать себя изнутри и в то же время видеть со стороны – нельзя. Словом, я была одна, а потом «меня» стало две, и это – раздражает. Где живу другая я? В зеркале жить нельзя, оно гладкое, а для жизни нужен простор, пространство. За зеркалом никого нет. Может быть, между зеркалом и задней его, шершавой, неполированной стенкой? Нет, я слишком большая девочка. Что это, что это и зачем? Вторая я не дает мне покоя, притягивает меня. Она угадывает мои намерения, она предвосхищает мои

действия. Только собираюсь показать ей язык, а она его высунула. Только собираюсь поразить ее затейливой гримасой, а она уже корчит такую рожу, что мне и не придумать.

Мария Александровна Мейн, мать Марины Цветаевой

Иван Владимирович Цветаев с дочерью Мариной. 1906 г.

И все же тайна разгадана, и помогла в этом Марина. Дело в том, что и она, и Сережа всегда и безошибочно узнают, когда я говорю правду, а когда неправду. Стоит мне соврать, как Марина смотрит мне в лицо и говорит: «А ведь у тебя на лбу написано, что ты неправду сказала». Сережа тоже читает то, что у меня написано на лбу, и мне остается только рассказать, как все произошло на самом деле. Именно это качество моего лба и позволило разоблачить девочку в зеркале. В следующий же раз, как меня, при помощи все той же надписи, признали виновной в очередном вранье, я бросилась к зеркалу. Вторая я уже была там. Пристально, хмурясь, как Марина, я стала рассматривать лицо девочки. Лобик ее был совершенно чист, без единой буквы, без единой каракули – просто удивительно чист. Итак, в зеркале была не я, а совсем чужая! У меня-то ведь надпись на лбу – Марина и Сережа только что читали, а у этой – ничего! Не я, не я, не я! Только платье такое же! Убедившись в этом и поторжествовав вокруг зеркала, я успокоилась. Мало ли чужих девочек на свете, и что мне до них! К тому же зеркало вскоре унесли из детской, а вместе с ним и обманщицу с чистым лобиком.

От нянек и только от них вся беда со штанами. Марина всегда знает, когда нужно их на мне расстегнуть. Даже если она разговаривает со взрослыми и совсем забывает обо мне, тихо играющей в уголке, Марина вдруг срывается с места, молниеносно отстегивает на мне три задних петельки от пуговиц лифчика и раздельным шепотом говорит на ухо: «Сейчас же –

марш – на горшок!»

С няньками же не так. Няньки совсем не знают, когда мне нужно, а я тем более, потому что заигрываюсь и забываю. Мне часто бывает просто некогда вспомнить о штанах. Особенно на прогулке. Чаще всего это случается на Собачьей площадке, где няня, сунув мне в руки ведерко и совочек, спешит к другим няням и кормилицам. Иногда я играю одна, иногда с другими девочками, но так или иначе – всегда увлеченно. Бывает, что вспоминаю о необходимости уединиться только тогда, когда необходимость эта уже миновала. Но случается, что успеваю добежать до няни и, приплясывая, жду, пока она распутает и расстегнет меня. Няня же не торопится. Она увлечена рассказом великолепной кормилицы в таком ярком наряде и с такими бусами, что каждой «девочке из порядочной семьи» – а я именно такая и есть – хочется поскорее вырасти большой, чтобы тоже стать такой кормилицей. Кормилица говорит о чем-то для няни очень интересном, о взрослом, в рассказе ее то и дело слышно: «а барин», «а барыня». Няня рассеянно блуждает пальцами под моим пальтецом и платьицем, нащупывая петли и пуговицы, но – уже поздно. Домой я возвращаюсь подавленная предстоящим неизбежным разоблачением и наказанием. – «Няня, не говори Марине», – прошу я, чувствуя собственную низость. «А к чему говорить, – равнодушно отвечает няня, щелкая кедровые орешки, которыми ее угостила кормилица, – она и сама узнает».

Когда наконец открывается дверь в нашу квартиру, я уже с порога отчаянно кричу: «Сухбха, сухбха!» – «Ах, сухбха?!» – отзывается Марина издалека, и голос ее не сулит ничего доброго. Вот она подходит, вот она стремительно наклоняется надо мной и, не обращаясь к пламенеющим на моем лбу письменам, всегда зная все заранее, выдает мне надлежащую порцию шлепков. И это еще не все. Потом я сижу в столовой у камина, зимой ли, летом ли, все равно, и держу в руках уже выполосканные и отжатые няней штаны. И каждый, кто проходит мимо, лицемерно-участливым голосом спрашивает: «Это ты, Алечка? А что ты тут делаешь?» – «Штаны шушэ», – всхлипывая, отвечаю я.

То, что я действительно «ребенок из порядочной семьи», совсем недавно, все на той же Собачьей площадке и все по тому же поводу, подтвердил один господин, судя по его виду, тоже из порядочной семьи. Он сидел на скамейке совсем один, далеко от нянек и детей, и читал «Русские ведомости». На лице у него блестели и пенсне, и седая бородка клинышком. А на ногах были тоже блестящие «штиблеты» – черные штиблеты с резиночками и с ушками. Я очень хорошо разглядела их, потому что, ища уединения, нашла его у самых ног господина и с интересом

наблюдала, как мой ручеек подбирается к его штиблетам. Заметил ручеек и господин. Он вскочил, с треском сложил газету, прошипел «а еще ребенок из порядочной семьи» и удалился. Спина у него была прямая и почему-то негодующая.

Марина подарила мне чашку с Наполеоном, чтобы мне было интереснее пить молоко. Из обыкновенной чашки оно очень плохо пьется. Эта чашка – вся золотая внутри, и чем больше выпиваешь молока, тем больше появляется золота. Снаружи она ярко-синяя, а Наполеон нарисован в белом кружочке – у него прямой нос, черные волосы, он смотрит вдаль. Он герой, он полководец, он император. И фокусничать, когда пьешь из такой чашки, – стыдно.

Няня поставила Наполеона на печку, чтобы немного подогреть молоко. Она так делала каждый день, и молоко, и чашка обычно чуть теплые. А на этот раз Наполеон перегрелся, я обожглась, выпустила чашку из рук и она разбилась на мелкие осколки.

В ужасе и горе, заливаясь слезами, я кинулась к Марине: «Мариночка, я разбила Наполеона! Мариночка, я разбила Наполеона!» Марина не рассердилась, она взяла меня на руки, утешала, говорила, что я не виновата. «Виновата! – кричала я, не унимаясь, – виновата! Я разбила Наполеона!»

Тогда Марина достала из шкафчика другую, ярко-синюю снаружи и золотую внутри, чашку. На ней в белом кружочке была нарисована красивая женщина с голыми руками и плечами, на которые спускались завитки черных волос. «Видишь, это императрица Жозефина, жена Наполеона. Он ее очень любил. И я тебе подарю эту чашку – взамен той – когда ты немножко подрастешь!» Но мне становится еще более жалко разбитого Наполеона. Оказывается, у него была жена! Жена императрица! Которой я разбила мужа…[4]

Сережа может очень хорошо нарисовать все, что захочешь, все, что ни попросишь. Особенно ему удаются львы. Про львов он рассказывает сказки – самые мои любимые, и тут же рисует их на бумаге. Еще он умеет «показывать льва» – делает лицо, как у настоящего льва, и этого папу-льва я люблю еще больше, чем просто папу. Марина же умеет «показывать рысь». У меня же ничего не получается, когда я тоже хочу показать льва и рысь, мне говорят «не гримасничай».

Папа и мама иногда называют друг друга шутя «лев» и «рысь».

Когда мы с Мариной ходим гулять, то всегда подаем нищим. Нищих очень много – это старые, сгорбленные, бедные, больные люди. Некоторые говорят «подайте Христа ради», другие молчат,

но мы подаем всем. Обычно нищие сидят на скамейке или прямо на земле и держат перед собою шапку, в которую надо класть копеечки. У некоторых нищих бывает очень много копеек в шапке, эти, видно, богатые, а есть и такие, у которых шапка совсем пустая. Марина очень близорука, и поэтому я всегда показываю ей:

«Мариночка, вон нищий сидит!» Марина дает мне монетку, и я бегу опустить ее в шапку нищего. Вот и на этот раз – Марина еще ничего не видит, а я уже обнаружила нищего, сидящего на лавочке с фуражкой в руках. Бегу к нему с зажатой в кулаке копеечкой, опускаю ее в фуражку – этот нищий очень бедный, на дне его фуражки ни грошика. Зато одет он очень красиво, штаны у него с лампасами и фуражка с околышем. И борода у него красивая, расчесанная на две стороны. Но зато он неблагодарный и невежливый – вместо того, чтобы сказать «Спаси тебя Господь, деточка», он вскакивает и начинает так кричать на меня и на подошедшую Марину, что мы обе пугаемся. Марина достает лорнет и смотрит на нищего, а тот топает ногами, обутыми в блестящие штиблеты, и выкрикивает глупые слова: «издевательство! насмешка!». Марина складывает лорнет, хватает меня за руку, и мы убегаем за угол. – «Он сумасшедший, Мариночка?» – спрашиваю я в испуге. «Это ты сумасшедшая, – отвечает Марина, сердясь и смеясь. – Подать копейку генералу! генералу, сидящему на собственной лавочке возле собственного особняка! Как ты могла принять его за нищего?» – «Но ведь он старик, Мариночка!» Раз старик – значит нищий. Разве непонятно?

Я никак не могу научиться, во-первых, спускаться с лестницы, как взрослые, – мне непременно нужно ставить обе ноги на каждую ступеньку, и, во-вторых, отличать правую руку от левой, правую сторону от левой. В правой и левой сторонах нет ничего достоверного, ничего раз и навсегда, к чему можно было бы привыкнуть.

Такие прочные и незыблемые вещи, как, скажем, церкви и дома, по непонятным для меня причинам оказываются то справа, то слева, не сходя притом с места. Стоит мне, маленькой девочке, повернуться, как весь мир перемещается, здания и деревья, собаки и люди словно перебегают за моей спиной с одного тротуара на другой. Марина говорит, что все очень просто, что правая сторона всегда там, где моя правая рука. Но которая же из рук – правая? Та, которой я крещусь. Крещусь я одинаково и той, и другой. По одной из них иногда шлепают, говоря, что это – не та, но я забываю, по которой. Обе руки у меня совсем одинаковые, обе умеют держать и ложку, и карандаш. Ноги у меня тоже

одинаковые, но башмаки для них – разные. Когда я обуваюсь сама, мне говорят: «не на ту ногу». Я переобуваюсь, и опять оказывается «не на ту ногу». Какая же нога – та? Какая же рука – та! Какая сторона – та!

Пока я ничего не знала про правое и левое, все было хорошо и ясно. Теперь все перепуталось и усложнилось, и в этой путанице не на что опереться, чтобы не ошибаться. Вот пришел гость – чаще всего это Володечка Алексеев, который всегда мне приносит подарки. Он, здороваясь, протягивает мне руку. Ага, вот, значит, с какой стороны у него правая рука! С этой же стороны должна быть и моя. Протягиваю свою – и, конечно, моя оказывается левой. Но почему же, почему? Марина, потеряв надежду объяснить мне, в чем тут дело, говорит папе: «Вот увидите, Сереженька, она так же, как и я, будет абсолютно неспособна к точным наукам!»

Наши с Мариной прогулки в храм Христа Спасителя всегда для меня отравлены лестницей. Подниматься по ней легко и весело, но ведь я заранее знаю, что с этих же ступенек придется спускаться, а я не умею спускаться с лестницы как все люди, как все дети, и Марина будет опять учить меня и сердиться. Так оно и есть. Уже позади огромные, гулкие, торжественные, раззолоченные глубины и высоты храма, такого большого, что внутри него стоит часовня, большая, как целая церковь. Уже позади стоящие вблизи от алтаря, обитые красным бархатом кресла, отгороженные от людей золотым шнуром. Это – царские кресла, на них сам царь сидит, на любом, на котором только захочет, во время службы.

Все приятное и красивое позади – впереди же бесконечная, вниз уходящая серая лестница, по которой я должна спускаться, как все люди.

О Марине Цветаевой
Воспоминания дочери

Какой она была?

Моя мать, Марина Ивановна Цветаева, была невелика ростом – 163 см, с фигурой египетского мальчика – широкоплеча, узкобедра, тонка в талии. Юная округлость ее быстро и навсегда сменилась породистой сухопаростью; сухи и узки были ее щиколотки и запястья, легка и быстра походка, легки и стремительны – без резкости – движения. Она смиряла и замедляла их на людях, когда чувствовала, что на нее смотрят или, более того, разглядывают.

Тогда жесты ее становились настороженно скупы, однако никогда не скованны.

Строгая, стройная осанка была у нее: даже склоняясь над письменным столом, она хранила «стальную выправку хребта».

Волосы ее, золотисто-каштановые, в молодости вившиеся крупно и мягко, рано начали седеть – и это еще усиливало ощущение света, излучавшегося ее лицом – смугло-бледным, матовым; светлы и немеркнущи были глаза – зеленые, цвета винограда, окаймленные коричневатыми веками.

Черты лица и контуры его были точны и четки; никакой расплывчатости, ничего недодуманного мастером, не пройденного резцом, не отшлифованного: нос, тонкий у переносицы, переходил в небольшую горбинку и заканчивался не заостренно, а укороченно, гладкой площадочкой, от которой крыльями расходились подвижные ноздри, казавшийся мягким рот был строго ограничен невидимой линией.

В Коктебеле.

Навсегда родными в памяти ее остались Таруса ее детства и Коктебель – юности…

Две вертикальные бороздки разделяли русые брови. Казавшееся завершенным до замкнутости, до статичности, лицо было полно постоянного внутреннего движения, потаенной выразительности, изменчиво и насыщено оттенками, как небо и

вода.

Но мало кто умел читать в нем.

Руки были крепкие, деятельные, трудовые. Два серебряных перстня (перстень-печатка с изображением кораблика, агатовая гемма с Гермесом в гладкой оправе, подарок ее отца) и обручальное кольцо – никогда не снимавшиеся, не привлекали к рукам внимания, не украшали и не связывали их, а естественно составляли с ними единое целое.

Голос был девически высок, звонок, гибок. Речь – сжата, реплики – формулы.

Умела слушать; никогда не подавляла собеседника, но в споре была опасна: на диспутах, дискуссиях и обсуждениях, не выходя из пределов леденящей учтивости, молниеносным выпадом сражала оппонента.

Была блестящим рассказчиком.

Стихи читала не камерно, а как бы на большую аудиторию.

Читала темпераментно, смыслово, без поэтических «подвываний», никогда не опуская (упуская!) концы строк; самое сложное мгновенно прояснялось в ее исполнении.

Читала охотно, доверчиво, по первой просьбе, а то и не дожидаясь ее, сама предлагая: «Хотите, я вам прочту стихи?»

Всю жизнь была велика – и не удовлетворена – ее потребность в читателях, слушателях, в быстром и непосредственном отклике на написанное.

К начинающим поэтам была добра и безмерно терпелива, лишь бы ощущала в них – или воображала! – «искру божью» дара; в каждом таком чуяла собрата, преемника – о, не своего! – самой Поэзии! – но ничтожества распознавала и беспощадно развенчивала, как находившихся в зачаточном состоянии, так и достигших мнимых вершин.

Была действенно добра и щедра: спешила помочь, выручить, спасти – хотя бы подставить плечо; делилась последним, наинасущнейшим, ибо лишним не обладала.

Умея давать, умела и брать, не чинясь; долго верила в «круговую поруку добра», в великую, неистребимую человеческую взаимопомощь.

Беспомощна не была никогда, но всегда – беззащитна. Снисходительная к чужим, с близких – друзей, детей – требовала как с самой себя: непомерно.

Не отвергала моду, как считали некоторые поверхностные ее современники, но, не имея материальной возможности ни создавать ее, ни следовать ей, брезгливо избегала нищих под нее подделок и в годы эмиграции с достоинством носила одежду с чужого плеча.

В вещах превыше всего ценила прочность, испытанную временем: не признавала хрупкого, мнущегося, рвущегося, крошащегося, уязвимого, одним словом – «изящного».

Поздно ложилась, перед сном читала. Вставала рано. Была спартански скромна в привычках, умеренна в еде. Курила: в России – папиросы, которые сама набивала, за границей – крепкие, мужские сигареты, по полсигареты в простом, вишневом мундштуке.

Пила черный кофе: светлые его зерна жарила до коричневости, терпеливо молола в старинной турецкой мельнице, медной, в виде круглого столбика, покрытого восточной вязью.

С природой была связана воистину кровными узами, любила ее – горы, скалы, лес – языческой обожествляющей и вместе с тем преодолевающей ее любовью, без примеси созерцательности, поэтому с морем, которого не одолеть ни пешком, ни вплавь, не знала что делать. Просто любоваться им не умела.

Низменный, равнинный пейзаж удручал ее, так же, как сырые, болотистые, камышовые места, так же, как влажные месяцы года, когда почва становится недостоверной под ногой пешехода, а горизонт расплывчат.

Навсегда родными в памяти ее остались Таруса ее детства и Коктебель – юности, их она искала постоянно и изредка находила в холмистости бывших «королевских охотничьих угодий» Медонского леса, в гористости, красках и запахах Средиземноморского побережья.

Легко переносила жару, трудно – холод.

Была равнодушна к срезанным цветам, к букетам, ко всему, распускающемуся в вазах или в горшках на подоконниках; цветам же, растущим в садах, предпочитала, за их мускулистость и долговечность, – плющ, вереск, дикий виноград, кустарники.

Ценила умное вмешательство человека в природу, его сотворчество с ней: парки, плотины, дороги.

С неизменной нежностью, верностью и пониманием (даже почтением!) относилась к собакам и кошкам, они ей платили взаимностью.

В прогулках чаще всего преследовала цель: дойти до…, взобраться на…; радовалась более, чем купленному, «добыче»: собранным грибам, ягодам и, в трудную чешскую пору, когда мы жили на убогих деревенских окраинах, – хворосту, которым топили печи.

Хорошо ориентируясь вне города, в его пределах теряла чувство направления, плутала до отчаяния даже в знакомых местах.

Боялась высоты, многоэтажности, толпы (давки),

автомобилей, эскалаторов, лифтов. Из всех видов городского транспорта пользовалась (одна, без сопровождающих) только трамваем и метро. Если не было их, шла пешком.

Была не способна к математике, чужда какой бы то ни было техники.

Ненавидела быт – за неизбывность его, за бесполезную повторяемость ежедневных забот, за то, что пожирает время, необходимое для основного. Терпеливо и отчужденно превозмогала его – всю жизнь.

Общительная, гостеприимная, охотно завязывала знакомства, менее охотно развязывала их. Обществу «правильных людей» предпочитала окружение тех, кого принято считать чудаками. Да и сама слыла чудачкой.

В дружбе и во вражде была всегда пристрастна и не всегда последовательна. Заповедь «не сотвори себе кумира» нарушала постоянно.

Считалась с юностью, чтила старость.

Обладала изысканным чувством юмора, не видела смешного в явно – или грубо – смешном.

Из двух начал, которым было подвлиянно ее детство – изобразительные искусства (сфера отца) и музыка (сфера матери), – восприняла музыку. Форма и колорит – достоверно осязаемое и достоверно зримое – остались ей чужды. Увлечься могла только сюжетом изображенного – так дети «смотрят картинки», – поэтому, скажем, книжная графика и, в частности, гравюра (любила Дюрера, Доре) была ближе ее духу, нежели живопись.

Ранняя увлеченность театром, отчасти объяснявшаяся влиянием ее молодого мужа, его и ее молодых друзей, осталась для нее, вместе с юностью, в России, не перешагнув ни границ зрелости, ни границ страны.

Из всех видов зрелищ предпочитала кино, причем «говорящему» – немое, за бóльшие возможности со-творчества, со-чувствия, со-воображения, предоставлявшиеся им зрителю.

К людям труда относилась – неизменно – с глубоким уважением собрата; праздность, паразитизм, потребительство были органически противны ей, равно как расхлябанность, лень и пустозвонство.

Была человеком слова, человеком действия, человеком долга.

При всей своей скромности знала себе цену.

Как она писала?

Отметя все дела, все неотложности, с раннего утра, на свежую голову, на пустой и поджарый живот.

Налив себе кружечку кипящего черного кофе, ставила ее на письменный стол, к которому каждый день своей жизни шла, как рабочий к станку – с тем же чувством ответственности, неизбежности, невозможности иначе.

Все, что в данный час на этом столе оказывалось лишним, отодвигала в стороны, освобождая, уже машинальным движением, место для тетради и для локтей.

Лбом упиралась в ладонь, пальцы запускала в волосы, сосредоточивалась мгновенно.

Глохла и слепла ко всему, что не рукопись, в которую буквально впивалась – острием мысли и пера.

На отдельных листах не писала – только в тетрадях, любых – от школьных до гроссбухов, лишь бы не расплывались чернила. В годы революции шила тетради сама.

Писала простой деревянной ручкой с тонким (школьным) пером. Самопишущими ручками не пользовалась никогда.

Временами прикуривала от огонька зажигалки, делала глоток кофе. Бормотала, пробуя слова на звук. Не вскакивала, не расхаживала по комнате в поисках ускользающего – сидела за столом, как пригвожденная.

Если было вдохновение, писала основное, двигала вперед замысел, часто с быстротой поразительной; если же находилась в состоянии только сосредоточенности, делала черную работу поэзии, ища то самое слово-понятие, определение, рифму, отсекая от уже готового текста то, что считала длиннотами и приблизительностями.

Добиваясь точности, единства смысла и звучания, страницу за страницей исписывала столбцами рифм, десятками вариантов строф, обычно не вычеркивая те, что отвергала, а – подводя под ними черту, чтобы начать новые поиски.

Прежде чем взяться за работу над большой вещью, до предела конкретизировала ее замысел, строила план, от которого не давала себе отходить, чтобы вещь не увлекла ее по своему течению, превратясь в неуправляемую.

Писала очень своеобразным круглым, мелким, четким почерком, ставшим в черновиках последней трети жизни трудно читаемым из-за нарастающих сокращений: многие слова обозначаются одной лишь первой буквой; все больше рукопись становится рукописью для себя одной.

Характер почерка определился рано, еще в детстве. Вообще же, небрежность в почерке считала проявлением оскорбительного невнимания пишущего к тому, кто будет читать: к любому адресату, редактору, наборщику. Поэтому письма писала особенно разборчиво, а рукописи, отправляемые в типографию, от руки перебеливала печатными буквами.

На письма отвечала, не мешкая. Если получала письмо с утренней почтой, зачастую набрасывала черновик ответа тут же, в тетради, как бы включая его в творческий поток этого дня. К письмам своим относилась так же творчески и почти так же взыскательно, как к рукописям.

Иногда возвращалась к тетрадям и в течение дня. Ночами работала над ними только в молодости.

Работе умела подчинять любые обстоятельства, настаиваю: любые.

Талант трудоспособности и внутренней организованности был у нее равен поэтическому дару.

Закрыв тетрадь, открывала дверь своей комнаты – всем заботам и тяготам дня.

Ее семья

Марина Ивановна Цветаева родилась в семье, являвшей собой некий союз одиночеств. Отец, Иван Владимирович Цветаев, великий и бескорыстный труженик и просветитель, создатель первого в дореволюционной России Государственного музея изобразительных искусств, ставшего ныне культурным центром мирового значения, рано потерял горячо любимую и прелестную жену – Варвару Дмитриевну Иловайскую, которая умерла, подарив мужу сына. Вторым браком Иван Владимирович женился на юной Марии Александровне Мейн, долженствовавшей заменить мать его старшей дочери Валерии и маленькому Андрею, – женился, не угасив любви к умершей, привлеченный и внешним с ней сходством Марии Александровны, и ее душевными качествами – благородством, самоотверженностью, серьезностью не по летам.

Однако Мария Александровна оказалась слишком собой, чтобы служить заменой, сходство же черт (высокий лоб, карие глаза, темные волнистые волосы, нос с горбинкой, красивый изгиб губ) лишь подчеркивало разницу в характерах: вторая жена не обладала ни грацией, ни мягким обаянием первой; эти женственные качества не так-то часто сосуществуют с мужской силой личности и твердостью характера, отличавшими Марию Александровну. К тому же сама она росла без матери; воспитавшая ее гувернантка-швейцарка, женщина большого сердца, но неумная, сумела внушить ей лишь «строгие правила» без оттенков и полутонов. Все остальное Мария Александровна внушила себе сама.

Замуж за Ивана Владимировича она вышла, любя другого, брак с которым был невозможен, вышла, чтобы, поставив крест на невозможном, обрести цель и смысл жизни в повседневном, будничном служении человеку, которого она безмерно уважала, и двум его осиротевшим детям.

В доме, бывшем приданым Варвары Дмитриевны и еще не остывшем от ее присутствия, молодая хозяйка завела свои собственные порядки, рожденные не опытом, которого у нее не было, а одной лишь внутренней убежденностью в их необходимости, порядки, пришедшиеся не по нраву ни челяди, ни родственникам первой жены, ни, главное, девятилетней падчерице.

С сестрой Анастасией. 1911 г.

Валерия невзлюбила Марию Александровну с детских лет и навсегда, и если впоследствии разумом что-то и поняла в ней, то сердцем ничего не приняла и не простила: главным же образом – чужеродности самой природы ее собственной своей природе, самой ее человеческой сущности – собственной своей; этого

необычайного сплава мятежности и самодисциплины, одержимости и сдержанности, деспотизма и вольнолюбивости, этой безмерной требовательности к себе и к другим и столь несхожего с атмосферой дружелюбной праздничности, царившей в семье при Варваре Дмитриевне, духа аскетизма, насаждавшегося мачехой. Всего этого было через край, все это било через край, не умещаясь в общепринятых тогда рамках. Может быть, не приняла Валерия и сумрачной неженской мощи таланта Марии Александровны, выдающейся пианистки, пришедшего на смену легкому, соловьиному, певческому дару Варвары Дмитриевны.

Так или иначе, несовместимость их характеров привела к тому, что Валерию по решению семейного совета, возглавлявшегося ее дедом, историком Иловайским, поместили в Екатерининский институт «для благородных девиц», среди которых она обрела многочисленных наперсниц; Андрей же воспитывался дома; он с Марией Александровной ладил, хотя настоящей душевной близости между ними так и не возникло: он в этой близости не нуждался, Мария Александровна на ней не настаивала.

Любимый в семье, красивый, одаренный, в меру общительный, Андрей, вместе с тем, рос (и вырос) замкнутым и обособленным – на всю жизнь, так до конца не открывшись ни людям, ни самой жизни и не проявив себя в ней в полную меру своих способностей.

Из двух дочерей от второго брака Ивана Владимировича наиболее для родителей легкой оказалась (или показалась) младшая, Анастасия; в детстве она была проще, податливее, ласковее Марины и младшестью своей и незащищенностью была ближе матери, отдыхавшей с ней душою: Асю можно было просто любить. В старшей же, Марине, Мария Александровна слишком рано распознала себя, свое: свой романтизм, свою скрытую страстность, свои недостатки – спутники таланта, свои вершины и бездны – плюс собственные Маринины! – и старалась укрощать и выравнивать их. Конечно же, и это было материнской любовью, и, может быть, в превосходной степени, но в то же время это была борьба с самой собой, уже состоявшейся, в ребенке, еще не определившемся, борьба с будущим – столь безнадежная! – во имя самого будущего… Борясь с Мариной, мать боролась за нее, – втайне гордясь тем, что не может одержать победу!

Причин тому, что дочери Марии Александровны не дружили в детстве, а сблизились сравнительно поздно, уже подростками, было несколько: они заключались и в детской ревности Марины к Асе (которой материнская нежность и снисходительность

доставались так легко!), и в Марининой тяге к обществу старших, с которыми она могла померяться умом, и к обществу взрослых, у которых она могла им обогатиться, и в ее стремлении к главенству – над равными, если не над сильнейшими, но отнюдь не над более слабыми, и в том, наконец, что ей, ребенку раннего и самобытного развития, попросту была неинтересна младенческая Асина несамостоятельность. Лишь перегнав самое себя во внутреннем росте, перемахнув через двухгодичную разницу в возрасте (равноценно взрослому двадцатилетию!) – стала Ася Марининым другом отроческих и юных лет. Ранняя смерть матери еще более объединила их, осиротевших.

В весеннюю свою пору сестры являли определенное сходство – внешности и характера, основное же отличие выразилось в том, что Маринина разносторонность обрела – рано и навсегда – единое и глубокое русло целенаправленного таланта, Асины же дарования и стремления растекались по многим руслам, и духовная жажда ее утолялась из многих источников. В дальнейшем жизненные пути их разошлись.

Искренне любившая отца, Валерия вначале относилась к его младшим дочерям, своим сводным сестрам, с равной благожелательностью; приезжая на каникулы из института и потом, по окончании его, она старалась баловать обеих, «нейтрализовать» строгость и взыскательность Марии Александровны, от которой оставалась независимой, пользуясь в семье полнейшей самостоятельностью, как и ее брат Андрей. На отношение Валерии Ася отвечала со всей непосредственностью, горячей к ней привязанностью; Марина же учуяла в нем подвох: не отвергая Валериных поблажек, пользуясь ее тайным покровительством, она тем самым как бы изменяла матери, ее линии, ее стержню, изменяла самой себе, сбиваясь с трудного пути подчинения долгу на легкую тропу соблазнов– карамелек и чтения книг из Валериной библиотеки.

В Марининой восприятии сочувствие старшей сестры оборачивалось лукавством, служило Валерии оружием против мачехи, расшатывало ее влияние на дочерей. С Мариниого осознания бездны, пролегающей между изменой и верностью, соблазном и долгом, и начался разлад между ней и Валерией, чья кратковременная и, по-видимому, поверхностная симпатия к сестре вскоре перешла в неприязнь, а впоследствии – в неприятие (характером – личности) – в то самое непрощение не только недостатков, но и качеств, на котором основывалось ее отношение к мачехе. (Валерия была человеком последовательным, разойдясь с Мариной в юности, она никогда больше не пожелала с ней встретиться, а творчеством ее

заинтересовалась только тогда, когда о нем заговорили вокруг; заинтересовалась накануне своей смерти и десятилетия спустя – Мариниой. С Асей, с Андреем и его семьей общалась, но – соблюдая дистанцию.)

Ивану Владимировичу все его дети были равно дороги; разногласия в семье, для счастья которой он делал (и сделал) все, что мог, глубоко огорчали его. Отношения между ним и Марией Александровной были полны взаимной доброты и уважения; Мария Александровна, помощница мужа в делах музея, понимала его одержимость в достижении многотрудной цели его жизни и его отвлеченность от дел домашних; Иван Владимирович, оставаясь чуждым музыке, понимал трагическую одержимость ею своей жены, трагическую, ибо, по неписаным законам той поры, сфера деятельности женщины-пианистки, каким бы талантом она ни обладала, ограничивалась стенами собственной комнаты или гостиной. В концертные залы, где фортепьянная музыка звучала для множеств, женщина имела доступ только в качестве слушательницы. Наделенная даром глубоким и сильным, Мария Александровна была осуждена оставаться в нем замкнутой, выражать его лишь для себя одной.

Детей своих Мария Александровна растила не только на сухом хлебе долга: она открыла им глаза на никогда не изменяющее человеку, вечное чудо природы, одарила их многими радостями детства, волшебством семейных праздников, рождественских елок, дала им в руки лучшие в мире книги – те, что прочитываются впервые; возле нее было просторно уму, сердцу, воображению.

Умирая, она скорбела о том, что не увидит дочерей взрослыми; но последние слова ее, по свидетельству Марины, были: «Мне жалко только музыки и солнца».

Ее муж. Его семья

В один день с Мариной, но годом позже – 26 сентября (ст. стиля) 1893 года – родился ее муж, Сергей Яковлевич Эфрон, шестым ребенком в семье, где было девять человек детей.

Мать его, Елизавета Петровна Дурново (1855–1910), из старинного дворянского рода, единственная дочь рано вышедшего в отставку гвардейского офицера, адъютанта Николая I, и будущий муж ее, Яков Константинович Эфрон (1854–1909), слушатель Московского Технического Училища, были членами партии «Земля и Воля»; в 1879 году примкнули к группе «Черный передел». Познакомились они на сходке в Петровском-Разумовском. Красивая строгой и вдохновенной красотой черноволосая девушка, тайно приехавшая из Дворянского Собрания и одетая в бальное платье и бархатную накидку, произвела на Якова Константиновича впечатление «существа с иной планеты»; но планета оказалась у них одна – Революция.

Политические взгляды Елизаветы Петровны, которой довелось сыграть немаловажную роль в революционно-демократическом движении своего времени, сложились под влиянием П. А. Кропоткина. Благодаря ему она стала – еще в ранней юности – членом I Интернационала и твердо определила свой жизненный путь. Кропоткин гордился своей ученицей, принимал живое участие в ее судьбе. Дружбу между ними прервала лишь смерть.

Яков Константинович и Елизавета Петровна выполняли все, самые опасные и самые по-человечески трудные, задания, которые поручала им организация. Так, Якову Константиновичу, вместе с двумя его товарищами, было доверено привести в исполнение приговор Революционного комитета «Земли и Воли» над проникшим в московскую организацию агентом охранки, провокатором Рейнштейном. Он был казнен 26 февраля 1879 года. Обнаружить виновных полиции не удалось.

В июле 1880 года Елизавета Петровна была арестована при перевозке из Москвы в Петербург нелегальной литературы и станка для подпольной типографии и заключена в Петропавловскую крепость. Арест дочери был страшным ударом для ничего не подозревавшего отца, ударом и по родительским его чувствам, и по незыблемым его монархическим убеждениям. Благодаря своим обширным связям он сумел взять дочь на поруки; ей удалось бежать за границу; туда за ней последовал Яков Константинович, там они обвенчались и провели долгих семь лет. Первые их дети – Анна, Петр и Елизавета – родились в

эмиграции.

По возвращении в Россию жизнь Эфронов сложилась нелегко: народовольческое движение было разгромлено, друзья – рассеяны по тюрьмам, ссылкам, чужим краям. Состоявший под гласным надзором полиции, Яков Константинович имел право на должность страхового агента – не более. Работа была безрадостной и бесперспективной, а малый оклад едва позволял содержать – кормить, одевать, учить, лечить – все прибавлявшуюся семью. Родители Елизаветы Петровны, пожилые, немощные, жили отъединенно и о нужде своих близких попросту не догадывались; дочь же о помощи не просила.

При всех повседневных трудностях, при всех неутешных горестях (трое младших детей умерли – Алеша и Таня от менингита, общий любимец семилетний Глеб – от врожденного порока сердца) семья Эфронов являла собой удивительно гармоническое содружество старших и младших; в ней не было места принуждению, окрику, наказанию; каждый, пусть самый крохотный ее член, рос и развивался свободно, подчиняясь одной лишь дисциплине – совести и любви, наипросторнейшей для личности, и вместе с тем наистрожайшей, ибо – добровольной.

Каждый в этой семье был наделен редчайшим даром – любить другого (других) так, как это нужно было другому (другим), а не самому себе; отсюда присущие и родителям, и детям самоотверженность без жертвоприношения, щедрость без оглядки, такт без равнодушия, отсюда способность к самоотдаче, вернее – к саморастворению в общем деле, в выполнении общего долга. Эти качества и способности свидетельствовали отнюдь не о «вегетарианстве духа»; все – большие и малые – были людьми темпераментными, страстными и тем самым – пристрастными; умея любить, умели ненавидеть, но – умели и «властвовать собою».

В конце 90-х годов Елизавета Петровна вновь возвращается к революционной деятельности. С ней вместе этим же путем пойдут и старшие дети. Яков Константинович все той же работой, все в том же страховом обществе продолжает служить опорой своему «гнезду революционеров». В часто меняющихся квартирах, снимаемых им, собираются и старые товарищи родителей, и друзья молодежи – курсистки, студенты, гимназисты; на даче в Быкове печатают прокламации, изготовляют взрывчатку, скрывают оружие.

На фотографиях тех и позднейших лет сохранился мужественный и нежный образ Елизаветы Петровны – поседевшей, усталой, но все еще несогбенной женщины, со взором, глядящим вглубь и из глубины; ранние морщины стекают

вдоль уголков губ, исчерчивают высокий, узкий лоб; скромная одежда слишком свободна для исхудавшего тела; рядом с ней – ее муж; у него – не просто открытое, а как бы распахнутое лицо, защищенное лишь плотно сомкнутым небольшим ртом; светлые, очень ясные глаза, вздернутый мальчишеский нос. И – та же ранняя седина, и – те же морщины, и та же печать терпения, но отнюдь не смирения, и на этом лице.

Их окружают дети: Анна, которая будет руководить рабочими кружками и строить баррикады вместе с женой Баумана; Петр, которому, после отчаянных по смелости антиправительственных действий и дерзких побегов из неволи, будет разрешено вернуться из эмиграции лишь в канун первой мировой войны – чтобы умереть на родине; Вера, так названная в честь друга матери, пламенной Веры Засулич, – пока еще девочка с косами, чей взрослый жизненный путь так же начнется с тюрем и этапов; Елизавета («солнце семьи», как назовет ее впоследствии Марина Ивановна Цветаева) – опора и помощница старших, воспитательница младших; Сережа, которому предстоит прийти к революции самой тяжелой и самой кружной дорогой и выпрямлять ее всю свою жизнь – всей своей жизнью; Константин, который уйдет из жизни подростком и уведет за собой мать…

Марина Цветаева и Сергей Эфрон перед свадьбой. 1911 г.

Обвенчались Сережа и Марина в январе 1912 года, и короткий промежуток между встречей их и началом Первой мировой войны был единственным в их жизни периодом бестревожного счастья.

Политическая активность Елизаветы Петровны и ее детей-соратников достигла своей вершины и своего предела в революцию 1905 года. Последовавшие затем полицейские репрессии, обрушившиеся на семью, раздробили единство ее судьбы на отдельные судьбы отдельных людей. В лихорадке обысков, арестов, следственных и пересыльных тюрем, побегов, смертельной тревоги каждого за всех и всех за каждого Яков Константинович вызволяет из Бутырок Елизавету Петровну, которой угрожает каторга, вносит с помощью друзей разорительный залог и переправляет жену, больную и измученную, за границу, откуда ей не суждено вернуться. В эмиграции она лишь ненадолго переживет мужа и только на один день – последовавшего за ней в изгнание младшего сына, последнюю опору своей души.

В пору первой русской революции Сереже исполнилось всего 12 лет; непосредственного участия в ней принимать он не мог, ловя лишь отголоски событий, сознавая, что помощь его старшим, делу старших – ничтожна, и мучаясь этим. Взрослые отодвигали его в детство, которого больше не было, которое кончилось среди испытаний, постигших семью, – он же рвался к взрослости; жажда подвига и служения обуревала его, и как же неспособно было утолить ее обыкновенное учение в обыкновенной гимназии! К тому же и учение, и само существование Сережи утратили с отъездом Елизаветы Петровны и ритм и устойчивость; жить приходилось то под одним, то под другим кровом, применяясь к тревожным обстоятельствам, а не подчиняясь родному с колыбели порядку; правда, одно, показавшееся мальчику безмятежным, лето он провел вместе с другими членами семьи около матери, в Швейцарии, в местах, напомнивших ей молодость и первую эмиграцию.

Подростком Сережа заболел туберкулезом; болезнь и тоска по матери сжигали его; смерть ее долго скрывали от него, боясь взрыва отчаянья; узнав – он смолчал. Горе было больше слез и слов.

В годы своего отроческого и юношеского становления он, будучи, казалось бы, общительным и открытым, оставался внутренне глубоко смятенным и глубоко одиноким.

Одиночество это разомкнула только Марина.

Они встретились – семнадцатилетний и восемнадцатилетняя

– 5 мая 1911 года на пустынном, усеянном мелкой галькой коктебельском, волошинском берегу. Она собирала камешки, он стал помогать ей – красивый грустной и кроткой красотой юноша, почти мальчик (впрочем, ей он показался веселым, точнее: радостным!) – с поразительными, огромными, в пол-лица, глазами; заглянув в них и все прочтя наперед, Марина загадала: если он найдет и подарит мне сердолик, я выйду за него замуж! Конечно, сердолик этот он нашел тотчас же, на ощупь, ибо не отрывал своих серых глаз от ее зеленых, – и вложил ей его в ладонь, розовый, изнутри освещенный, крупный камень, который она хранила всю жизнь, который чудом уцелел и по сей день…

Обвенчались Сережа и Марина в январе 1912 года, и короткий промежуток между встречей их и началом Первой мировой войны был единственным в их жизни периодом бестревожного счастья.

В 1914 году Сережа, студент 1-го курса Московского университета, отправляется на фронт с санитарным поездом в качестве брата милосердия; он рвется в бои, но медицинские комиссии, одна за другой, находят его негодным к строевой службе по состоянию здоровья; ему удается, наконец, поступить в юнкерское училище; это играет роковую роль во всей его дальнейшей судьбе, так как под влиянием окружившей его офицерской верноподданнической среды к началу гражданской войны он оказывается втиснутым в лагерь белогвардейцев. Превратно понятые идеи товарищества, верности присяге, вскоре возникшее чувство обреченности «белого движения» и невозможности изменить именно обреченным уводят его самым скорбным, ошибочным и тернистым в мире путем, через Галлиполи и Константинополь – в Чехию и Францию, в стан живых призраков – людей без подданства и гражданства, без настоящего и будущего, с неподъемным грузом одного только прошлого за плечами…

В годы Гражданской войны связь между моими родителями порвалась почти полностью; доходили лишь недостоверные слухи с недостоверными «оказиями», писем почти не было – вопросы в них никогда не совпадали с ответами. Если бы не это – кто знает! – судьба двух людей сложилась бы иначе. Пока, по сю сторону неведения, Марина воспевала «белое движение», ее муж, по ту сторону, развенчивал его, за пядью пядь, шаг за шагом и день за днем.

Когда выяснилось, что Сергей Яковлевич эвакуировался в Турцию вместе с остатками разбитой белой армии, Марина поручила уезжавшему за границу Эренбургу разыскать его; Эренбург нашел С. Я., уже перебравшегося в Чехию и

поступившего в Пражский университет. Марина приняла решение – ехать к мужу, поскольку ему, недавнему белогвардейцу, в те годы обратный путь был заказан – и невозможен.

Помню один разговор между родителями вскоре после нашего с матерью приезда за границу:

«…И все же это было совсем не так, Мариночка», – сказал отец, с великой мукой все в тех же огромных глазах выслушав несколько стихотворений из «Лебединого стана». «Чту же – было?» – «Была братоубийственная и самоубийственная война, которую мы вели, не поддержанные народом; было незнание, непонимание нами народа, во имя которого, как нам казалось, мы воевали. Не «мы», а – лучшие из нас. Остальные воевали только за то, чтобы отнять у народа и вернуть себе отданное ему большевиками – только и всего. Были битвы за «веру, царя и отечество» и, за них же, расстрелы, виселицы и грабежи». – «Но были – и герои?» – «Были. Только вот народ их героями не признает. Разве что когда-нибудь жертвами…»

«Но как же Вы – Вы, Сереженька…» – «А вот так: представьте себе вокзал военного времени – большую узловую станцию, забитую солдатами, мешочниками, женщинами, детьми, всю эту тревогу, неразбериху, толчею, – все лезут в вагоны, отпихивая и втягивая друг друга… Втянули и тебя, третий звонок, поезд трогается – минутное облегчение, – слава тебе, Господи! – но вдруг узнаешь и со смертным ужасом осознаешь, что в роковой суете попал – впрочем, вместе со многими и многими! – не в тот поезд… Что твой состав ушел с другого пути, что обратного хода нет – рельсы разобраны. Обратно, Мариночка, можно только пешком – по шпалам – всю жизнь…»

После этого разговора был написан Маринин «Рассвет на рельсах».

Вся дальнейшая жизнь моего отца и была обратным путем – по шпалам – в Россию, через препятствия, трудности, опасности и жертвы, которым не было числа, и вернулся он на Родину сыном ее, а не пасынком.

Из самого раннего

Раннее детство мне вспоминается не как сон, а как первая в жизни, наиярчайшая явь, как сплошное открытие – сначала мира, чуть позднее – и самой себя в нем.

В истоках своих мир этот не мал и не велик, не плох и не хорош, он просто и бесспорно наличествовал, еще вне сравнений и оценок. Наличествовали в нем и два совершенно новых, младенческих глаза, во все впивавшихся и видевших все, за исключением самой девочки, которой они принадлежали. Сама же девочка, как бы таившаяся до поры до времени в глубине собственных зрачков, осуществилась лишь в день, когда, разглядывая, в который раз, ту, другую – в зеркале, вдруг отождествила свое живое «я» с условностью отражения. Отражение было не из приятных: белоголовое, насупленное, одетое в вельветовое полосатое платьице, обутое в башмаки с пуговками, оно строило рожи, топало ногой, высовывало язык и вполне заслуживало, чтобы его поставили в угол. Стояло, топало и высовывало до той поры, пока подлинник, внезапно пронзенный догадкой, не слился, в сознании своем, с копией. Тогда притихшее и несколько заискивающее «я» подошло к изображению, погладило его, с дружеским нажимом, как пуделя Джека, и прошептало – «Милая!».

Но это случилось впоследствии, а до этого был мир и ведавшая им и распоряжавшаяся мама, которую звали Марина. Мир всецело зависел от нее, по ее воле детский день сменялся ночью, возникали из шкафа и исчезали в нем игрушки, вызываемая ими сдержанная скука («играть» я не умела, а ломать – не разрешалось) – уступала место восторгу обещанной прогулки с Мариной – почти со всем восторгом, если бы не все эти, маленьким ненавистные, капоры, башлыки, гамаши, калоши, варежки, теплые штаны, застежки, пряжки, крючки, пуговицы, пуговицы без конца! По воле Марины мир ограничивался стенами детской или становился улицей, из зимы превращался в лето, распахивал и закрывал окна и двери, останавливался как вкопанный или благодаря извозчику, реже – поезду, преображался в движение, чтобы, угомонившись, вдруг назваться «дачей» или «Коктебелем». Назваться. Ибо именно по Мариниой воле все видимое начало обозначаться словами и тем самым материализоваться, определяться, обретать форму, цвет и смысл. Невидимое, отвлеченное также началось со слов – с трех китов человеческого бытия; «Нельзя», «Нужно», «Можно», – причем первое из них, повторявшееся чаще, усвоилось прежде двух

остальных.

Маринино влияние на меня, маленькую, было огромно, никем и ничем не перебиваемое и – всегда в зените. Между тем времени со мной она проводила не так уж много, гуляла не так уж часто, ни в чем не потакала, не баловала; всем этим в той или иной мере занимались няни, не оставившие в памяти надежного следа, может быть оттого, что, не приживаясь к дому, часто сменялись.

С одной из них пришлось расстаться потому, что вместо скверика на Собачьей площадке она неукоснительно уводила меня в Николо-Песковскую церковь – выстаивать панихиды и прикладываться к покойникам. «А что тут такого, барыня, – говорила она разгневанной Марине, неторопливо собирая пожитки: – Ангельская-то молитва скорее до господа проникает, значит, у гроба и младенец при деле, не то что на этих ваших – тьфу! грех вымолвить! – площадках собачьих!»

Вторую уволили за то, что оказалась нечиста на руку, да и на язык: вместо «медведь» и «панталоны», например, произносила, – а вслед за ней и я, – «ведьмедь» и «полтолоны»; третья и последующие уходили, кажется, сами.

Ни одна из этих, или иных, перемежавшихся теней не заслоняла от меня Марину, постоянно как бы просвечивавшую сквозь всех и вся; к ней и за ней я постоянно тянулась, подобно подсолнечнику, и ее присутствие постоянно ощущала внутри себя, подобно голосу совести, – столь велика была излучавшаяся ею убеждающая, требовательная, подчиняющая сила. Сила любви.

В ребенке, которым я была, Марина стремилась развивать с колыбели присущие ей самой качества: способность преодолевать трудное и – самостоятельность мыслей и действий. Рассказывала и объясняла не по поверхности, а чаще всего – глубже детского разумения, чтобы младший своим умом доходил до заданного, а может быть, это заданное и опережал; приучала излагать – связно и внятно – увиденное, услышанное, пережитое – или придуманное. Никогда не опускаясь до уровня ребенка, а неустанно как бы приподнимая его, чтобы встретиться с ним на той крайней точке, на которой сходятся взрослая мудрость с детской первозданностью, личность взрослого с личностью маленького.

Наградой за хорошее поведение, за что-то выполненное и преодоленное были не сладости и подарки, а прочитанная вслух сказка, совместная прогулка или приглашение «погостить» в ее комнате. Забегать туда «просто так» не разрешалось. В многоугольную, как бы граненую, комнату эту, с волшебной елизаветинской люстрой под потолком, с волчьей – немного

пугающей, но манящей – шкурой у низкого дивана, я входила с холодком робости и радости в груди… Как запомнился быстрый материнский наклон мне навстречу, ее лицо возле моего, запах «Корсиканского жасмина», шелковый шорох платья и то, как сама она, по неутраченной еще детской привычке, ладно и быстро устраивалась со мной на полу – реже в кресле или на диване, – поджав или скрестив длинные ноги! И наши разговоры, и ее чтение вслух – сказок, баллад Лермонтова, Жуковского… Я быстро вытверживала их наизусть и, кажется, понимала; правда, лет до шести, произнося «не гнутся высокие мачты, на них флюгеране шумят», думала, что флюгеране – это такой неспокойный народец, снующий среди парусов и преданный императору; таинственной прелести балладе это не убавляло.

Певица Анастасия Вяльцева.

Помню, как однажды, послушав пластинки Вари Паниной и Вяльцевой – низкие, печальные, удалые голоса! – Марина рассказала мне, еще не совсем четырехлетней, о последнем концерте одной из них…

Марина позволяла посидеть и за ее письменным столом, втиснутым в простенок у маленького углового окна, за которым всегда ворковали голуби, порисовать ее карандашами и иногда даже в ее тетрадке, почтительно полюбоваться портретами Сары Бернар и Марии Башкирцевой, потрогать пресс-папье –

«Нюрнбергскую деву», страшную чугунную фигурку с шипами внутри, привезенную когда-то дедом из Германии, и чугунного же «царя Алексея Михайловича»; скрепку для бумаг в виде двух ладоней – пальцы были совсем как настоящие и цепко держали записи и счета; лаковую карандашницу с портретом юного генерала 1812 года Тучкова IV; глиняную, посеребренную птицу Сирин.

Из пузатого секретера доставалась большая книга в красном переплете – сказки Перро с иллюстрациями Доре, принадлежавшая еще Марининой матери, когда она была «такой же маленькой, как ты». Я рассматривала картинки, осторожно, только что вымытыми руками, переворачивая страницы с верхнего правого угла; ничто так не возмущало Марину, как небрежное, неуважительное отношение к книгам; когда я нечаянно разбила одну из двух ее любимых чашек старинного фарфора, – к счастью, не ту, что с Наполеоном, а ту, что с Жозефиной, и, заливаясь слезами, кричала: «Я разбила его жену! теперь он овдовел!» – меня не только не ругали, но еще и утешали, а вот за какого-то «Степку-Растрепку», разорванного, потому что он был противный, всклокоченный урод, «такой же, как ты, когда не хочешь мыться и причесываться», пришлось-таки постоять в углу, мрачно колупая известку… Можно было смотреть картинки и в однотомнике Гоголя (приложение к журналу «Нива»). Там все было нарисовано подробно, мелко и еще не очень мне доступно. Как кочевник, воспевающий во всех подробностях возникающий перед ним пейзаж, так и я, на свой лад и нараспев, комментировала иллюстрации: «А вот лошадка едет… а вот господин разговаривает с дамой… А вот барышня просит у кухарки жареных обезьян…» «Барышней» была восставшая из гроба панночка, «кухаркой» – Хома Брут, а «жареными обезьянами» – снующая во всех направлениях нечистая сила.

Иногда Марина заводила бабушкину музыкальную шкатулку с медным игольчатым валиком: вставлялся в нее картонный трафарет, накручивалась тугая ручка завода – и раздавалась мелодия менуэта или гроссфатера, отчетливая и негромкая, как весенняя капель; сколько трафаретов, столько и мелодий. Не менее чудесным, но более внушительным казался мне граммофон с трубой в виде гигантской повилики: в нем жили голоса цыганок. Всю жизнь любила Марина цыган – от пушкинских до уличных гадалок и деревенских конокрадов, за их вольнолюбивость, особость, обособленность от окружающего, колдовские речи и песни, царственную беспечность… и ненадежность.

Помню, как однажды, послушав пластинки Вари Паниной и

Вяльцевой – низкие, печальные, удалые голоса! – Марина рассказала мне, еще не совсем четырехлетней, о последнем концерте одной из них, кажется, Паниной.

«Она была когда-то молода и прекрасна, и пела так, что все теряли голову – как один! Богачи, князья, офицеры швыряли к ее ногам сердца, титулы, состояния, сходили с ума, стрелялись на дуэли… Но время прошло – узнаешь и ты, что оно проходит! – ее время прошло! Она состарилась; ушли красота, богатство, слава… только голос остался… Поклонники? Поклонники рассеялись, остепенились, многие умерли… А она еще выступала – но слушать ее было некому, ее поколение сошло на нет, что до внуков, то они никогда не увлекаются тем же, чем деды! И вот она дает последний прощальный концерт; выходит на сцену все в той же черной шали, расплывшаяся, седая, старая! Ни одной черточки от той, прежней, и вообще, уже не черты, а – морщины. В зале – только несколько последних не изменивших… Кто бы узнал в одряхлевших стариках тех былых волокит, гусаров, красавцев? Тени пришли на последнее свидание с тенью. И тень поет, романс за романсом, все то, что они любили, за что носили на руках! Тень – прежде ими любимая! – Тень, любившая их! Она прощается с ними, прощается с жизнью, с самой любовью… Время концерта давно истекло; ушел аккомпаниатор; служители гасят лампу за лампой и люстру за люстрой; вокруг – никого. Но она не уходит, она отказывается уходить! Песни рвутся, льются из груди – она поет! поет одна, в пустом темном зале; мрак и голос; голос – во мраке; голос – осиливший мрак!..»

Увидев мое лицо, Марина осеклась, спросила:

– Ты поняла?

– Поняла, – ответила я и засмеялась: – Старуха пела, пела, а старики все ушли и свет потушили.

– Ступай! – сказала Марина, помолчав. – Ты еще слишком мала; ступай в детскую!

И я отправилась в детскую к няне, к «ведьмедям» и «полтолонам».

Бедная Марина! Как часто и взрослым – особенно взрослым! – собеседникам была она не по возрасту!

А голос во тьме запал в душу – может быть, именно потому, что не сразу был услышан и разгадан, как, впрочем, многие из Марининых загадок.

Теперь думаю: не здесь ли, не в образе ли старой цыганки, поющей в пустыне темного зала, истоки трагической цветаевской «Сивиллы»?

Каменной глыбой серой,

С веком порвав родство,
Тело твое – пещера
Голоса твоего.

Еще о моем смехе и о смехе вообще.

Когда впервые Марина повела меня в цирк, я вначале не знала, куда смотреть, все таращилась на ложи осветителей, сочувствуя людям, там находившимся, и боясь за них; мне почему-то казалось, что в ложи эти можно забраться только снаружи, по приставным лестницам, а это – страшно и опасно; как нам повезло, что мы – здесь сидим! Марина поворачивала мое лицо – обеими руками – к арене: смотри! – но меня все манили осветители; когда же, почти перед носом, возникли тигры и сдержанно рыкавшие львы, я загляделась не на них, а на униформистов, мундиры их напоминали мне студенческие, как у отца и его товарищей: не Сережа ли там играет со зверями, среди всех этих перевернутых, белых с серебром, бочек и ящиков? А зачем студенты выгнали зверей, щелкая бичами? Зачем тогда было впускать?

Но вот забегали, запрыгали, закувыркались странные, одетые – одни в удивительные балахоны с елочными блестками, другие – в куцые жилетки и непомерные шаровары, существа с размалеванными лицами; они что-то выкрикивали резкими уксусными голосами и всем – размашистыми движениями, нескладными и вместе с тем ловкими прыжками, внезапно возникавшими драками и бурными примирениями – напоминали тех самых «уличных детей», игры которых я, «хорошая девочка», могла разделять только в воображении, глядя на них в окно! Клоуны! Клоуны! Они оказались куда интереснее уличных мальчишек, потому что – смешные! Те прыгали и дрались «просто так», а эти каждым своим движением, толчком, скачком, пинком, подножкой, каждой на весь цирк звучащей пощечиной вызывали смех; кроме того, с ними все время что-то случалось: то падали штаны, то лопались жилеты, то вырастали рукава, то улетали шляпы, то разбухали животы и зады; из-под них уходили стулья! Под ногами разверзалась земля!

Сперва, вникая, я заулыбалась, потом стала смеяться и, наконец, закатилась в голос, как все. – Все, но не Марина.

Ладонями, ставшими железными, она отвернула мое лицо от арены и тихо, яростно отчеканила: «Слушай и помни: всякий, кто смеется над бедой другого, – дурак или негодяй; чаще всего – и то, и другое. Когда человек попадает впросак – это не смешно; когда человека обливают помоями – это не смешно; когда

человеку подставляют подножку – это не смешно; когда человек теряет штаны – это не смешно; когда человека бьют по лицу – это подло. Такой смех – грех».

Это я усвоила сразу и осознала на всю жизнь, как, впоследствии, и то, что к клоунам, как таковым, материнское замечание не относилось.

…Рисовать я начала, как все начинают: сильно нажимая на карандаш, кружила им по бумаге; получались смерчи. Но вот однажды вышел у меня, как у всех выходит, первый, как Адам, человечек: руки, ноги, туловище – палочки, голова – кочном. Замирая от восторга и усердия, я снабдила кочан глазами, потом ноздрями, потом ртом, уходящим за пределы головы, и, наконец, зубами. Добавила пальцы и пуговицы и, не помня себя, завопила: «Марина! Марина! Скорее идите сюда!» Марина вбежала встревоженная из своей, соседней с детской, комнаты. «Что случилось?» – «Смотрите! Смотрите! Я человека нарисовала!»

И – замерла за своим столиком в ожидании похвалы.

Марина склонилась над рисунком. «Где человек? Это человек?» – «Да». – «Ну нет, Алечка! Таких людей не бывает. Пока что это – урод. Смотри: сколько у него пальцев на руке? а у тебя? Вот видишь – А ножки как спички? – посмотри на свои. А зубы? Как не стыдно! Так забор рисуют. И голова не бывает больше самого человека. А это что за кружочки?» – «Пуговицы», – прошептала я, мрачнея. «Пуговицы – шире живота? Пуговицы – сами по себе, без одежды? Нет, Алечка, плохо. Тебе надо еще много рисовать и до-олго стараться. До тех пор, пока не получится!»

Какой же это был удар по самолюбию и самонадеянности, начавшим было расцветать. Вместо дополненной и украшенной авторским воображением настоящей фигуры я воочию увидела беспощадно развенчанную Мариной убогую, кособокую кривульку… С глубоким, как само разочарование, вздохом снова взялась я за карандаш – за преодоление неподдающегося.

Марина не терпела ничего облегченного. Так, когда знакомые дарили мне альбомы для раскрашивания, она убирала их: «Сама нарисуй, тогда и раскрашивай; кто разрисовывает, или срисовывает, или списывает – чужое, тот обирает самого себя и никогда ничему не научится!»

Когда случайно выяснилось, что буквы я уже знаю, она стала учить меня читать слова, не разбивая их на слоги, а – сразу все слово целиком, сперва осознанное «про себя», потом произносимое вслух. Перо, вложенное ею в мои пальцы, никогда не выводило палочек и крючочков, предваряющих начертание букв, и не воспроизводило печатных прописей между двумя, механически организующими почерк, линейками, слова из букв и

фразы из слов я должна была строить сама, и по одной линейке. Таким образом, мне постоянно приходилось думать о том, что я делаю – и как. Пассивное копиистическое начало из Мариниого преподавания было изгнано раз и навсегда, замененное творческим. Вместо нудных примеров сразу же, с места в карьер, писались изложения, сочинения; обычно безликие, ученические тетради превращались в дневники; грамматика свелась к минимуму необходимейших и, как все насущное, несложных правил. Вместо способности вызубривать наизусть развивалась сама память, в первую очередь зрительная, и та самая наблюдательность, которой большинство детей так щедро наделены и которую так быстро утрачивают…

Смело выкинув из педагогической цепи промежуточные звенья, Марина выучила меня читать – бегло и достаточно осмысленно – к четырем годам, писать – к пяти, а вести дневниковые записи – более или менее связно и вполне (по старому правописанию) грамотно – к шести-семи годам.

Так как начало моей «письменности» совпало с началом революции, записи эти, полвека спустя, может быть, представляют какой-то интерес; вот некоторые из них, ни в чем не исправленные, лишь, в случае надобности, сокращенные.

Моя мать

Моя мать очень странная.

Моя мать совсем не похожа на мать. Матери всегда любуются на своего ребенка, и вообще на детей, а Марина маленьких детей не любит.

У нее светло-русые волосы, они по бокам завиваются. У нее зеленые глаза, нос с горбинкой и розовые губы.

У нее стройный рост и руки, которые мне нравятся.

Ее любимый день – Благовещение. Она грустна, быстра, любит Стихи и Музыку. Она пишет стихи. Она терпелива, терпит всегда до крайности. Она сердится и любит. Она всегда куда-то торопится. У нее большая душа. Нежный голос. Быстрая походка. У Марины руки все в кольцах. Марина по ночам читает. У нее глаза почти всегда насмешливые. Она не любит, чтобы к ней приставали с какими-нибудь глупыми вопросами, она тогда очень сердится.

Иногда она ходит, как потерянная, но вдруг точно просыпается, начинает говорить, и опять точно куда-то уходит.

Декабрь 1918

Четырехлистник

Был теплый и легкий день, и мы с Мариной гуляли. Она рассказывала мне сказку Андерсена про девочку, наступившую на хлеб – как она, чтобы перейти ручей, наступила на хлеб. Про то, какой это был большой грех.

Я сказала: «Марина! Сейчас, наверное, никто бы не захотел так согрешить!»

Марина Цветаева с Алей. 1916 г.

Марина ответила, что это потому, что сейчас стало так мало хлеба, а раньше его не доедали и выбрасывали. Что наступить на хлеб – такой же грех, как убить человека. Потому, что хлеб дает жизнь.

Мы шли по серой тропинке на горку. Наверху была большая церковь, очень красивая под голубым небом и длинными облаками. Когда мы подошли, то увидели, что церковь была заперта. Мы на нее перекрестились и сели на ступеньки. Марина сказала, что мы сидим, как нищие на паперти.

Вокруг было далеко, но не подробно видно, потому, что там был легкий туман. Я стала разговаривать с Мариной, но она сказала, чтобы я не мешала ей и пошла поиграть. Я не захотела играть, а захотела рвать цветы.

Вдруг я увидела, что под ногами у меня растет клевер. Там перед ступеньками были ровно уложенные старинные камни. Каждый из них был в темной рамке из клевера. Если посмотреть на эти камни внимательно, то на них были полосы и узоры и получались настоящие картины в зеленых рамах. Я села на корточки и стала искать четырехлистник Марине на счастье. Я искала так долго, что у меня зашумело в ушах. Когда мне захотелось уйти, вдруг я его нашла и так обрадовалась, что испугалась. Я бросилась к Марине и подарила ей свою добычу. Она обрадовано рассмотрела мой четырехлистник и спросила, где я его нашла. Я сказала. Она поблагодарила меня и положила его засушить в записную книжку.

Август 1918

Что – сегодня – возникает из этой давней записи? Одно из любимейших мною цветаевских стихотворений августа 1918 года:

Стихи растут, как звезды и как розы,
Как красота – ненужная в семье.
А на венцы и на апофеозы —
Один ответ: – Откуда мне сие?

Мы спим – и вот, сквозь мраморные плиты,
Небесный гость в четыре лепестка.
О мир, пойми! Певцом – во сне – открыты
Закон звезды и формула цветка.

Возникает и сам, действительно бывший и несомненно

счастливый, четырехлистный росток клевера, разысканный некогда среди прочих, заурядных, трехлистных, у подножья грациозной громады «Покрова в Филях».

Просто счастливый, ибо, как повторяла мне, маленькой, Марина, а ей, маленькой, ее мать, четырехлистник– добрая примета, символ удачи; его изображают на новогодних открытках, воспроизводят в виде серийных талисманов – медальонов, брелоков…

Дважды счастливый росток, ибо скромным чудом своего рождения вызвал чудо рождения этих стихов.

Что до «венцов и апофеозов», то не от самого ли храма они, столь триумфального в своем царственном – пурпурном и кружевном – уборе?

Марине не по нраву был европеизированный «нарышкинский стиль», в котором выдержана филевская церковь; его лишенное непосредственности, изысканное, светское великолепие было ей чуждо.

Она любила церкви – просфоры, а не церкви – пирожные, в которых усматривала начало чувственное, а не духовное. Трижды счастливый «небесный гость в четыре лепестка», переросший в восприятии поэта такую высокую колокольню!

«Кот в сапогах» Антокольского в Третьей студии Вахтангова

«Мы с Мариной пошли в театр. Когда мы вышли из дому, был чудный вечер, луна была совсем круглая и купола церквей были так блестящи, что от них шли лучи. Вечер был синий и белый, дома были похожи на сугробы с железом.

Мне было шесть лет, Марина была близорука, и было темно, так что мы не могли читать, какие улицы мы проходили, потому Марина спрашивала у прохожих. Наконец, она сказала, что тут. Мы звоним, нам открывает женщина в черном платье с белым фартуком, ее звали Маша, она помогла нам снимать шубу.

Мы пошли в залу, там раздался звонок, все засуетились, свет потух, открылась занавеска – и там на постели лежала дама, покрытая одеялом. Она была молода. Вдруг раздался стук и вошла сгорбленная старуха и стала пить вино, а Кэт (та дама) смотрела на нее тусклыми глазами. Старуха очень долго говорила, а потом начала танцевать и танцевала так долго, что закрыли занавеску, зажгли свет, и все стали шуметь и говорить. Потом началась новая сцена, и я вижу – там бедный стоит молодой человек, и рядом с ним Кот в сапогах, одет очень хорошо – у него меховые панталоны и теплая куртка. Кот говорит все о богатстве, а молодой человек почти не слушает. Но вот они видят в окно человека, и Кот говорит: «Давай примем его, как судьбу» – и прячется под стол.

Вошел этот человек, седой старик, это был доктор, он шел к танцовщице Кэт и позвал с собой сына мельника, молодого человека. Но тут – явление: Кот вылезает из-под стола и говорит доктору: «Мой хозяин очень хороший человек, и можно мне пойти вместо него?» Доктор говорит; «Пожалуйста!» Сын мельника снимает куртку, Кот быстро ее надевает и с улыбкой нежным голосом говорит своему хозяину: «Примешь ли ты когда-нибудь меня?» – и ждет ответа. В глазах хозяина появилась какая-то грусть, но она скоро пропала, и он взял и вытолкал их обоих за дверь. Потом влез на стол и стал смотреть им вслед на прощание.

Тут опять зажегся свет, говор и шум, и через несколько минут все замолчало, и свет потух. Опять лежит танцовщица Кэт на кровати и говорит спокойным голосом: «Я им не открою, нет я им не открою!» И как раз в это время постучались. Тогда та старуха, которая сперва сидела рядом, а потом упала со стула и заснула под кроватью, встает и идет открывать. Входит доктор, раскланивается, здоровается и вытаскивает из-под двери Кота.

Оба они начинают без спроса пить вино и кричать: «Да здравствует танцовщица Кэт!» Все двигаются и ходят безмолвно и с некоторыми словами, и долго все это продолжается. Потом доктор надевает на себя одежду священника, ставит Кота и Кэт на колени, берет свой цилиндр вместо венца и венчает их, и все говорят приятные вещи. Но через несколько минут танцовщица сказала: «Ах, господи, да ведь это не Пьеро, это кот, киска!» И стала падать на кровать.

Тогда доктор вскакивает на столик, где вино, разбрасывает все ногами и исчезает в окне. Кот подбегает к танцовщице, кричит: «Проснись, проснись!», но она все лежит, и он тоже спрыгивает с подоконника, так что все дома за окном дрожат. Старуха выкидывает им вслед цилиндр доктора, а Кэт приподымает голову. – Конец. –

Народ опять зашумел, заговорил, о том, что видел, а мы с Мариной пошли в комнату, где были знакомые барышни – актрисы, некоторые актеры и Павлик Антокольский, который написал эту пьесу. Потом пришел Юра Завадский, он выглядел тонко и молодо, у него были кудрявые светлые волосы, большие глаза, тонкие ноги и руки и круглое, но стройное лицо.

15 марта 1919

Первая Маринина сознательная встреча с театром состоялась, вернее – почти состоялась – в ранней юности, в Париже. Тогда она была увлечена Наполеоном Бонапартом, нет, влюблена в него, готова за него жизнь отдать – столетие спустя; как всякая страсть, которая не есть призвание, это было наваждением, и, как всякое наваждение, это вскоре прошло.

Прочтя в Москве все книги о нем – а их было немало – и перелюбив все его портреты, она отправилась в Париж, к гробнице Наполеона, как крестоносец – к Гробу Господню, и – на поклон к Саре Бернар, прославленной трагической актрисе, игравшей ростановского «Орленка».

Гробница ужаснула холодной полированной огромностью своей и смертной мраморностью, которых не согревала даже надпись: «Я хотел бы, чтоб прах мой покоился на берегах Сены, среди французского народа, который я так любил!»

Нет, прах Мариниого Наполеона остался на острове Святой Елены!

Что до Сары Бернар, то она – потрясла; не столько перевоплощением в герцога Рейхштадского, сколько эгоцентрическим мужеством актрисы; ей было в ту пору 65 лет; она недавно перенесла ампутацию ноги и передвигалась с помощью протеза; но все равно – играла! Играла, в эпоху корсетов

на китовом усе, подчеркивавших все округлости женской фигуры, двадцатилетнего юношу в облегающем белом мундире и офицерских рейтузах; как ни величественно было – в глазах Марины – зрелище несгибаемой старости, но оно отдавало гротеском и оказалось тоже гробницей, воздвигнутой Сарой и Ростану, и ростановскому «Орленку»; как, впрочем, и памятником слепому актерскому героизму. Если бы еще были слепы и зрители…

К счастью, оставался сам Париж, великий утолитель воображения, неисчерпаемый каменный учебник Истории – для всех возрастов души.

Следующее, более устойчивое, соприкосновение Марины с театром произошло в раннюю пору ее замужества: и Сережа, и его сестры были учениками театральных школ и участниками студийных спектаклей; старший же брат, Петр, рано умерший, – профессиональным актером. Все они, так же, как и окружавшая их молодежь, тяготели к Таирову, были без ума от Алисы Коонен и не мыслили себе жизни вне театра. Марина довольствовалась зрительными залами и зальцами, и – атмосферой общей, жаркой, радостной увлеченности.

Чем короче были роли, тем сильнее – волнения. Смешливый Сережа никак не мог совладать с репликой одного из осажденных, изголодавшихся воителей из «Сирано де Бержерака»: «Ах, коль сейчас не подкрепят мне сил, я удалюсь в палатку, как Ахилл» – и этим самым Какахилом окончательно добивал и без того умученное репетициями войско. Вообще же Сережа обладал прекрасными сценическими данными, и его выступления на подмостках «Эксцентриона», студии-спутника Камерного театра, запомнились зрителям.

Среди завязавшихся в те годы отношений длительнее всех оказались приятельские связи Марины и Сережи с талантливым актером и музыкантом А. Подгаецким-Чабровым, незабываемым Арлекином из «Покрывала Пьеретты», человеком мятущимся, восторженным, неуравновешенным. Ему Марина посвятила в 20-е годы свою поэму «Переулочки», за негасимость его смятенности и за то, что в такое бесподарочное время он – однажды – подарил ей розу.

Буквально отравленный сценой, одержимый мечтой о собственном, не подвластном ничьей школе или воле театре, он эмигрировал, как во сне, ведомый этой мечтой. Пробуждение обернулось одиночеством, нищетой, отчаяньем. Разуверившись в обстоятельствах и в людях, он обратился к Богу – причем к католическому, пленившему его воображение великолепными спектаклями торжественных месс, декорациями уводящей за

облака готики и нездешним аккомпанементом органа. Тут-то и «охмурили ксендзы» несчастного Арлекина, посулив ему, ежели он сменит православие на католичество, не только царство небесное, но и земную должность библиотекаря при Ватикане. Так Чабров стал священником. Его одели в узкую сутану, в которой он выглядел более, чем когда-либо, актером! – выбрили на голове тонзуру – кружок для сошествия Святого Духа и отправили на Корсику, в самый отдаленный, самый пропащий приход; несколько свирепых старух и нераскаянных бандитов составили его паству.

Он разыскал нас в 30-е годы и каждые год-полтора приезжал к нам в Кламар и Ванв под Парижем, погостить несколько дней и отвести обиженную и обманутую душу в воспоминаниях о театральном былом и в сдержанно-выразительных упреках католическому настоящему. Мои родители очень жалели его. Что с ним стало в дальнейшем – не знаю.

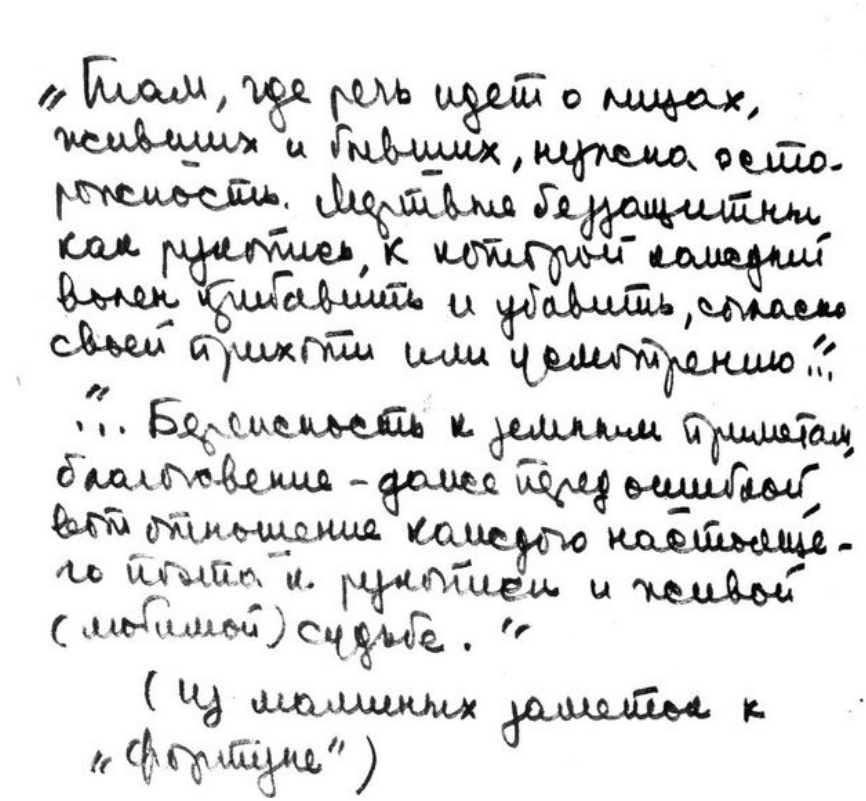
Итак, сознательный интерес Марины к искусству сцены впервые был порожден призрачной страстью к двум Наполеонам – I и II; призрачность страсти обусловила и призрачность интереса; вторая встреча с театром была в то же время и вторичной, озаренной не собственным Мариниым светом, а – отраженным, и прервалась она Сережиным уходом на фронт. Третья и последняя оказалась настоящей, ибо – утвердила и завершила в ее творчестве целую эпоху: эпоху Романтики.

Той самой Романтики, которая, ничтоже сумняшеся, бродила по путаным и заснеженным переулкам революционной Москвы, оставляя свой легкий не по сезону след в тетрадях поэтов и на сценах театров, прежде чем раствориться во времени и пространстве великих перемен и событий.

Все началось со встречи с поэтом – совсем юным Павликом Антокольским и с его совсем юной и блистательной поэзией – еще в 1917 году. Павлик к тому же оказался и драматургом и актером и ввел Марину в круг своих друзей, в магический круг вахтанговской Третьей Студии, который – на время – замкнул ее в себе.

Прельстил и замкнул (если Марина была вообще способна в чем-либо творчески замыкаться) потому, что был только студией, а не театром, поиском, а не каноном, обретя который обычно от добра добра уже не ищут. Но при всей своей увлеченности студийцами и их работой, при всем своем романтическом отклике на их романтику Марину не покидало подспудное чувство несоответствия «лицедейства» эпохе, да и собственного своего – «лицедейству». От сюда – то покаянное, то ироническое звучание многих ее лирических стихотворений «студийного»

периода, горчащая шутливость стихов к «Комедьянту» (как и само заглавие цикла – «Комедьянт»)[5], отсюда – шарманочность напева некоторых «Стихов к Сонечке» и пародийность формы «жестокого романса» – при всей (всегдашней) остроте чувств, породивших эти произведения. Из тех русл, по которым пробивалось тогда Маринино творчество, «студийное» русло было самым праздничным, ибо – комедийным; то была последняя праздничность, нарядность и первая и последняя комедийность ее лирики.


„Глаз, где речь идет о лицах, живших и бывших, нужна осторожность. Мертвые беззащитны как ручаться, к которой комедии вымысел убавить и убавить, сообразно своей прихоти или усмотрению."

„... Бережность к земным приметам, благоговение – даже перед ошибкой – вот отношение каждого настоящего поэта к прошлому и нынешней и своей (любимой) судьбе."

(Из маминых заметок к „Фортуне")

Переписано рукой Ариадны Эфрон.

…Как же они были милы, как прелестны молодостью своей, подвижностью, изменчивостью, горячностью ее и ее же серьезностью, даже важностью – в деле. А дело их было – игра. Игра была их, взрослых, делом! – я притихала в углу, чтобы не услали спать, и смотрела на них с полнейшим пониманием, потому что я, маленькая, тоже играла, и тоже в сказки, как и они. Приобщенная обстоятельствами к миру взрослых, я быстро научилась распознавать их, незаметная им. Только Маринина подруга, та, кому были написаны «Стихи к Сонечке», Софья Евгеньевна Голлидей, «подаренная» Марине Павликом, осознала

и приняла в сердце свое и нас с Ириной, особенно Ирину – за ее младенческую нежность, кудрявость, незащищенность.

Кроме Сонечки и Павлика нас постоянно навещали три Юрия – Завадский, Никольский, Серов – и один Володя – Алексеев, вскоре вышедший из игры – в гражданскую войну, в которой и след его потерялся. Еще запомнилась мне внешней неприметностью своей и большой добротой студийка Елена Владимировна (Лиля) Шик; из-за длинного носа и покладистого нрава ей всегда доставались так называемые характерные – а попросту старушечьи – роли.

Посетители наши всегда кого-нибудь приводили к нам или от нас уводили, и старинная полутораэтажная квартира наша, с внутренней лестницей, вся превращалась в движение, становилась сплошной лестницей, по которой, подобно библейским ангелам из «Сна Иакова», сновали студийцы. Зимой мы жили внизу, в самой теплой – и темной – из комнат, а летом перебирались в почти чердачную, длинную, узкую клетушку с единственным, но зато выходившим на плоскую кровлю соседнего флигеля окошком. Комната эта стала Марининой любимой, потому что именно ее когда-то выбрал себе Сережа.

Чердачный дворец мой, дворцовый чердак!
Взойдите: гора рукописных бумаг…
– Так! – Руку! – Держите направо!
Здесь лужа от крыши дырявой.
Теперь полюбуйтесь, воссев на сундук,
Какую мне Фландрию вывел паук.
Не слушайте толков досужих,
Что женщина может без кружев…

Каких только кружев не плели тут голоса, и каких только голосов не слыхал этот чердачный дворец, – каких споров, разговоров, репетиций, декламации, каких тишайших шепотов! Все были молоды и говорили о театре и о любви, о поэзии и о любви, о любви к стихам, о любви к театру, о любви вне театра и вне стихов… Впрочем, для Марины любви вне поэзии не существовало.

Она любила слушать эти голоса, убедительность интонаций и убежденность слов, звучавшую в них правду… или пустоту.

…И, упражняясь в старческом искусстве
Скрывать себя, как черный бриллиант,
Я слушаю вас с нежностью и грустью,
Как древняя Сивилла – и Жорж Санд.

Древней Сивилле было двадцать шесть лет.

А какими Жар-Птицами пролетали в этих разговорах волшебные слова и имена: «Принцесса Брамбилла» и «Адриена Лекуврер», «Фамира Кифаред» и «Сакунтала», «Принцесса Турандот» и «Чудо Святого Антония», «Гадибук» и «Потоп»… Фамилии Станиславского и Вахтангова, Таирова и Мейерхольда звучали сегодняшним днем, произносимые с неустоявшимся восторгом или досадой текущего часа…

Иногда и меня брали в театр; помню «Адвоката Пателена»[6] в каком-то помещении Зоологического сада, в непосредственной близости к клеткам с хищниками; помню, в Художественном, зачарованных детей, которых звали бубенцовыми именами Тильтиль и Митиль; помню, как Сахар ломал свои сладкие пальцы, как Хлеб, вздыхая, вылезал из дежи, как появлялись и растворялись в розовато-зеленоватом конфетном свете рампы Бабушка и Дедушка…[7] Помню гибкие и вместе с тем угловатые фигуры, метавшиеся по маленькой сцене особняка в Мансуровском переулке, яркость условных костюмов, патетические образы бледных прекрасных женщин с распущенными, почему-то всегда черными, волосами, заламывавших свои прекрасные бледные руки…

Что привлекло Марину к Студии, помимо самих студийцев, то есть помимо всегда для нее основного: обаяния человеческих отношений? То, что в театральном искусстве, наряду с далеким ее природе «зрелищным» началом, наличествовало Слово, ее стихия. Только для Марины театр кончался пьесой, текстом, то есть тем, с чего он, фактически, для актеров – начинался. Воплощение образов воображаемых в образы изображаемые было уже всецело их заботой, не ее.

Впервые в жизни возникло у нее желание слить свой поиск с их поиском, преодолеть барьер между своим – бесплотным – искусством и их искусством «во плоти», принять участие в чуде рождения спектакля, увидеть свой труд, рассекретить его, сделав тайное – явным.

Многое умела она творчески; ей захотелось суметь и это.

Шесть пьес – «Метель», «Фортуна», «Каменный ангел», «Червонный валет», «Феникс» и «Приключение» (объединенных впоследствии общим названием «Романтика») – написала она для своих друзей; две из них – «Каменный Ангел» и «Червонный валет» – являли даже ярко выраженные, на поверхности лежащие! – черты символизма, столь близкие тогдашним вкусам студийцев – чтоб им легче было играть!

Все эти вещи, очень сценичные, с блистательными диалогами, имели, при чтении их Мариной студийцам, большой, многоголосый что называется – шумный успех; однако ни одна из них не была ими поставлена. Может быть, потому, что воссоздавать на подмостках самих себя, свой образ, даже облик, свой характер, актерам несподручно. Может быть, они просто – прошли мимо, не сумев понять, что это – им, для них и насколько ей важно, чтобы ее дар, ее вклад был ими принят. Она ведь им об этом не сказала ни слова, как всегда потопив в собственной гордости и робости – надежду, заранее предвестив ее несбыточность.

Так или иначе, ее голос не слился с голосами студийцев, ее слово не прозвучало из их уст. Жаль. Это глубокое человеческое и творческое разочарование Марины ее рукой вывело – эпиграфом к изданному в 1922 году последнему действию «Феникса» – слова Гейне: «Театр не благоприятен для Поэта и Поэт неблагоприятен для Театра»[8].

Прошли годы (для Марины годы эмиграции, для бывших студийцев – годы становления), – но она не забыла своих «спутников юной поры». Им посвящена – два десятилетия спустя – ее большая прозаическая вещь «Повесть о Сонечке», написанная уже после смерти С. Е. Голлидей, в чью «встречную» память Марина всегда верила. Что до памятливости «комедьянтов», то ей она казалась «сценической условностью» еще в 1918 году, в самый разгар их дружбы – «с Вас начиная, пылкий Антокольский, любимец страстных Муз, запомнивший лишь то, что панны польской я именем зовусь; и этого – виновен холод братский и сеть иных помех! – и этого не помнящий – Завадский! – памятнейший из всех»…

1 мая 1919 года

Мы вышли на улицу и попали на праздник. Мы шли по бульвару. Вдруг мы услыхали полковую музыку. Марина сказала мне: «Аля, какая чудная музыка! Эта музыка, где бы она ни была, я ее люблю!» Мы подошли к ограде и видим – проезжают кони, красивые, белые. Всадники одеты в синем и светлом, лица их были простые. Одни из них немного качались в седле. У некоторых коней были привязаны красные розы к ушам. Потом мы увидели позади войско. Впереди шел барабанщик с огромным золотым барабаном. Все одежды войска были синие. Барабанный стук уходил с музыкой. Потом мы отошли от загородки и стали бродить по бульвару. Тут мы услыхали жужжание аэроплана. Мы сначала не обратили на него внимание и тихо разговаривали. Вдруг он пролетел над нашей головой и стал разбрасывать листы, которые кружились по воздуху странными тучами. Листы падали везде и на крыши домов.

Вечером мы зашли к Бальмонтам и все вместе пошли во Дворец Искусств, бывший дом Соллогуба, где должны были читать разные поэты. Мы вошли во двор, который был, как сад. В нем были кусты, точно забор колючий, и маленькие деревья спереди дома. Сам дом Соллогуба стоял чуть-чуть пожелтевший, с белыми колоннами. Марина с Бальмонтом подошли к двери, мы вошли в маленькую комнатку, там нам помогли раздеться. Бальмонт записал наши имена в тетрадку. Мы поднялись по входной лестнице, и я увидела очень высокие стенные часы. Из передней мы прошли через длинную залу, довольно узкую, с красными бархатными стенами и с широким большим окном в сад, потом опять по лестнице в широкую комнату с большим круглым столом. Там женщина разливает чай и угощает всех нас. Ее звали как-то вроде Розы, она была актриса. У нее были черные волосы, спереди заплетенные, на ней было надето розово-лиловое платье. Брови черные, каких я никогда не видала. Лицо было маленькое и круглое. Я увидала господина в пенсне, очень похожего на Дон Кихота – такой же худой и высокий. К нему обращались с почтением.

Женщина, которая разливала чай, стала шутя гадать Бальмонту по руке, много раз повторяя слово «Аполлон». Когда она кончила гадать, она сказала: «Кто пойдет со мной смотреть церковь?» Марина спросила: «Домовую церковь Соллогубов?» Женщина ответила: «Да». Мы все пошли, и Марина мне сказала: «Аля! Тут есть лестница, вся истертая от следов человеческих ног!»

Дверь домовой церкви была на замке, ее открыли. Мы вошли и стали на хорах. Там сильно пахло ладаном. Меня подняли на перила, и я увидела, что внизу был полумрак и на маленьком столике большое открытое Евангелие, а наверху не очень большая люстра стеклянная. Стены были деревянные с резными украшениями. Все молчали, а Марина сказала: «Да, тут довольно жутко!»

Тогда мы вышли и пошли по темной лестнице в парадные комнаты. Все ступени ее были с огромными углублениями, и каждую минуту повороты и изгибы. Потом мы вошли в залу, где был большой камин, на котором стояли крылатые львы черные, а оттуда в другую, где стояла белая очень красивая и задумчивая статуя, Марина назвала ее Психеей.

Та актриса показала нам свою комнату, комната была обыкновенная, с одним окном и простым полом, там стоял рояль. Вся мебель была обтянута красной материей шелковой.

Наконец, мы вошли в залу, в которой были розовые стены. Там многие люди уже сидели на местах, потом сели все. В камине горел огонь.

Садится на маленький диванчик поэтесса и говорит стихи – жалобным, писклявым и еле-еле слышным голосом. Стихи про то, что она спит в воротах кладбища, что у нее на груди висит крест, а у всех нет, что у нее сердце доброе и мягкое, а у других сердца черствы. Сказала и ушла к камину.

Потом подошел молодой, почти мальчик, поэт Есенин. Он читал стихи о том, что месяц спрыгнул с неба и обратился в жеребенка, а он запряг его в колесницу.

Потом стал читать Бальмонт, он читал про рабочего, мне кажется, что в этих стихах он хотел усмирить рабочего.

Потом господин, похожий на Дон Кихота, позвал Марину читать стихи, она встала от окна, где сидела со мной, и прочла стихи про то, что мы – две странницы – перешли всю свою дорогу жизни, любимые богом, и что мы не Величества, Высочества, и еще стихи про Москву и про Георгия Победоносца. Марина читала твердым голосом. После последнего стиха люди рукоплескали, по-моему, потому, что стыдно молчать, когда человек кончил.

Актриса теперь не была одета в то платье. Теперь у нее на голове надета была шапочка белая и длинное белое толстое платье, с черной, надетой на все платье, вуалью.

Опять на диванчик села та поэтесса и прочла стихи гораздо лучше первых, про то, что она жила в часовне, которая стояла в лесу, куда никто не заходил. И она все сидела в часовне и глядела в окно.

Потом еще один поэт читал стихи, как он шел по лесной дороге ночью, и вдруг явилась девочка, которую звали Люба и которая была из белой сказки. На заре она стала уходить, он просил ее остаться, но она сказала «не могу» и ушла.

Моя мать… У нее светло-русые волосы, они по бокам завиваются. У нее зеленые глаза, нос с горбинкой и розовые губы…

Еще были разные стихи, которых я не помню, и еще там был один солдат, который говорил речь.

Мы ушли из этой залы в переднюю, а в зале к нам подошел Есенин и что-то стал говорить маме. Я не слушала и не помню, что он говорил.

Когда мы вышли из Дворца Искусств, был закат, и жена Бальмонта показала Марине на месяц – он был чуть-чуть розоватый. Мы очень быстро пошли, почти побежали, по двору, мимо маленьких деревьев, точно подстриженных в круг. Всюду выбивалась тонкая новая травка.

В одном маленьком белом флигеле окна были красные от света, и Марина рассказала, что туда переселили графиню Соллогуб из большого дома, и она там теперь живет. Флигель был обнесен кустами.

Мы пошли на Арбат вместе с Бальмонтами. Вот мы уж у храма Христа Спасителя.

Вдруг над нами пронеслась с грохотом красная струя, потом еще пронеслась и осветила купол храма, как при солнце. Я немного боялась, что какая-нибудь струя свалится и убьет меня. Вдруг за деревьями сквера поднялся по воздуху почти до неба розовый туман. На всех возвышениях стояли люди и смотрели. Много было красных флагов. Иногда проходили солдаты с факелами. Иногда на небе появлялись маленькие звезды красные и одна за другой мигом падали на землю.

Те огненные струи назывались ракетами.

Марина все говорила: «Ах, мы не сможем вернуться. Парадное, наверно, уже закрыли!» Потом она вывела меня на площадь, и мы пошли домой по бульвару, где были поставлены новые статуи, не похожие на настоящие, а когда прошли почти половину его, то увидели буквы и цифры, освещенные маленькими лампочками.

Буквы и цифры были большевистские».

…«Бывший дом Соллогуба», в котором, по преданию, жила семья Ростовых из «Войны и мира», стал Дворцом Искусств с ранней весны 1919 года и по сей день принадлежит искусству: именно у его входа прибита дощечка с надписью «Союз писателей СССР». В 1918 году в этом здании помещался Народный Комиссариат по делам национальностей, единственное учреждение, в котором за всю свою жизнь служила или, вернее, сделала неудачную попытку служить Марина.

Этот дом – друг моего детства, единственный из друзей, за пять десятилетий сохранивший неизменными внешние свои черты; тогда, как и теперь, старинный особняк с колонным портиком являл собой прелестный образец столь лиричного в

своей строгости «московского» классицизма, теперь, как и тогда, он обнимает и обрамляет крылатыми полукружиями своих флигелей парадный двор; только нынче подъезды к входу покрыты асфальтом да исчезли корявые и кудрявые яблоньки-китайки вдоль фасада главного здания.

Пока взрослые собирались, совещались, музицировали, беседовали, выступали в его комнатах, еще выглядевших «покоями», еще обитых штофом и кретоном и уставленных ампирной мебелью, мы, дети, играли в прятки в его гулких подвалах и носились по двору, который был первым нашим детским садом, дачей, всей природой, воплотившейся для нас в его деревца и кустарники, дичающие цветнички, лопушиные заросли.

Когда теперь, изредка, вхожу я в эти ворота, то невольно приостанавливаюсь: а где же мы, дети? отчего такая тишина?

В те годы Дворец Искусств был не только учреждением, концертным залом, клубом, но и жилым домом; на верхнем этаже правого флигеля летом 1919 года обитали Розенель, Луначарский и двое его мальчиков – сын и племянник. Эти последние, едва приехав и заслышав наши голоса, скатились вниз, прямо в какой-то наш «каравай, каравай, кого любишь – выбирай»; мальчики были одеты несколько аккуратнее нас, и главное, прочнее обуты. Чтобы не выделяться из «общей массы», они тут же, с места в карьер, схватили какие-то камешки, железяки, всерьез расковыряли свои башмаки и пошли скакать вместе с нами; напрасно мы ждали, что им за обувь попадет: нет, не попало!

Левый флигель, в узких келейках которого сам воздух казался анисового цвета из-за ломившейся в окна зелени, был населен «хозобслугой», с которой соседствовали и начинающие литераторы, и певцы, и художники. Самым удивительным в их комнатах были печи, облицованные изразцами с аллегорическими рисунками и таинственными под ними подписями, вроде: «От старости зелье могила», «И не такие подъезжали», «Люби нас, ходи мимо» или «Не тогда жить, когда ноги мыть».

В палисаднике флигеля сохли на солнце лозунги и какие-то причудливые, фанерные, свежевыкрашенные конструкции, предназначавшиеся для праздничного и будничного оформления московских улиц; из открытых окон лились рулады шубертовских «Ручьев».

В разлатом привратном домике доживала свой век бывшая владелица особняка, в то время как дряхлая, полуслепая

горничная, бывшая ее крепостная, доживала свой в одном из графских апартаментов – так рассудила советская власть. Обе старушки, опираясь каждая на свою клюку, мирно шествовали через двор – друг к другу в гости. К ним наведывались, просачиваясь из ближних переулков, еще старухи, – и простенькие, кургузенькие, в платочках, и прямоспинные, с генеральской выправкой, шуршавшие стеклярусом и щелкавшие складными лорнетами; «крепостная» на ощупь разводила самовар, и все пили морковный чай из недобитого – кобальт с золотом – сервиза, отчужденно следя за передвижениями слушателей и ревнителей искусств.

На заднем, хозяйственном, дворике размещались службы, тянулись грядки общественного огорода, паслась привязанная к колышку коза, верещал в «стайке» поросенок. Тут простирались владения семейства цыган – уборщицы Антонины Лазаревны, ее мужа, шофера, слесаря, мастера на все руки, в прошлом соллогубовского конюха, бабки Елизаветы Сергеевны и двоих детей. Все они, и стар, и млад, и мал, были добры, трудолюбивы и красивы, – такими на всю жизнь и запомнились. Конечно же, Марина часто заглядывала к ним и даже помогала Антонине Лазаревне в каком-то шитье, чтобы только слушать ее (лесковские) рассказы. Шутила, что напишет книжку «Цыганские сказки».

На этом же, цыганском, дворике первый директор Дворца Искусств, поэт-футурист Иван Рукавишников, проводил учения с красноармейцами, чередуя грамоту с ружейными приемами; он был рыж и краснолиц, одет в нечто полувоенное, полуоперное, подпоясан в несколько оборотов длинным шелковым шарфом а-ля калабрийский разбойник. Жена его Нина ведала московскими цирками; иногда она заезжала за мужем в экипаже, запряженном отслужившими свой артистический век, списанными с арены лошадьми. «Все смешалось в доме Ростовых», – шутила Марина. Рукавишниковской упряжке, умевшей танцевать вальс, посвятила она один из своих рассказов на французском языке – «Чудо с лошадьми».

Она любила Дворец, стоявший в те годы как бы на стыке искусств – уходящих и восходящих, ей нравилась атмосфера его концертов, дискуссий, чтений, его литературных вечеров, в которых она так охотно принимала участие, некая – переходная – камерность их и щадящая традиционность обстановки, отвлекавшая от тягот и забот вздыбленного быта.

Здесь, в этом самом доме с колоннами, собирался первый и последний творческий коллектив, к которому принадлежала Марина Цветаева; в этом столь разноголосом хоре звучал и ее еще

звонкий и юный голос, которому было суждено так скоро стать трагическим «гласом вопиющего в пустыне» – эмиграции.

Подвиг

Я записывала что-то в этой тетрадке и вдруг услыхала голос Марины: «Аля, Аля, иди скорей сюда!» Я иду к ней и вижу – на кухонной тряпке лежит мокрый червяк. А я больше всего боюсь червяков. Она сказала: «Аля, если ты меня любишь, ты должна поднять этого червя». Я говорю: «Я же Вас люблю душой». А Марина говорит: «Докажи это на деле!» Я сижу перед червем на корточках и все время думаю: взять ли его или нет. И вдруг вижу, что у него есть мокрый селедочный хвост. Говорю: «Марина, можно я его возьму за селедочный хвост?» А она отвечает: «Бери его, где хочешь! Если ты его подымешь, ты будешь героиня, и потом я скажу тебе одну вещь».

Сначала я ничем не ободрялась, но потом взяла его за хвост и приподняла, а Марина говорила: «Вот молодец, молодец, клади его сюда на стол, вот так. Клади его сюда, только не на меня!» (Потому что Марина тоже очень боится червяков.) Я кладу его на стол и говорю: «Теперь вы правда поверили, что я вас люблю?» «Да, теперь я это знаю. Аля, ведь это был не червяк, а внутренность от пайковой селедки. Это было испытание». Я обиделась и говорю: «Марина, я вам тоже скажу правду. Чтоб не взять червя, я готова была сказать, что я вас ненавижу».

Май 1919 г.

В случае с «червяком» повинны были Шиллер и Жуковский, создавшие балладу «Кубок». «Кто, рыцарь ли знатный иль латник простой, в ту бездну прыгнет с высоты?» – декламировала я, расхаживая взад-вперед по нашей кухне и оттягивая неизбежный час занятий. Читательский восторг переполнял меня, я ощущала себя сопричастной событиям поэмы – да что там сопричастной! – тем самым «пажем молодым» ощущала я себя, который «уж в бездне пропал…».

– «Какие замечательные стихи, Марина! Какие героические! А царевна, которая заступилась за пажа, похожа на Вас! Если бы этот царь, который бросил этот кубок в пучину морскую, был бы Вашим отцом…» – «То он оказался бы твоим дедом!» – заметила Марина. «Нет, не надо дедом! Если бы он просто был Вашим отцом, а я тем самым пажом, то я бы тоже… тоже…» – «Не думаю, чтобы ты смогла», – серьезно ответила Марина, с оценивающей нежностью оглядывая всю мою тогдашнюю малость и хилость, с макушки до кончиков стоптанных башмаков, в которых я, к шести с половиной годам, еще не научилась толком разбираться – какой

на какую ногу натягивать. «Во-первых, ты боишься воды… а потом, если бы только вода! Там ведь еще и гады морские, и чудовища! Помнишь?»

(Еще бы не помнить: «ползет стоногое грозно из мглы, и хочет схватить, и разинулся рот…» Сто склизлых ног! Ужас и отвращение!)

«Все равно бы прыгнула!» – с прежней пылкостью в голосе, но уже с холодком сомнения в груди продолжала настаивать я. «Видишь ли, будь я той царевной – или тем царем, я не разрешила бы тебе и вообще кому бы то ни было прыгать в пучину по прихоти. Любовь не прыжками доказывается, а каждым прожитым днем – и как он прожит, и каждым сделанным делом – как оно сделано. Садись-ка ты лучше за стол и пиши свою страницу!» И я села за стол, не догадываясь, что «подвиг» мой – не за горами, ибо Марина признавала декларации, лишь подтвержденные действием…

В деревне

Марина решила отправить меня в деревню, погостить у нашей молочницы Дуни. Потом она должна была приехать за мной сама.

Мы с Дуней ехали товарным поездом. Некоторые остановки были очень продолжительны. До деревни Козлове мы шли пять верст лесом. Впереди шли девки и бабы. Они то и дело перекликались. Вскоре мы вышли на просторное место, там видны были золотые полосы ржи. Все обращали на меня внимание: «Чья это девчонка?» А Дуня с гордостью: «Барынина, из Москвы. Читаить, пишить». Какой-то мальчишка сказал: «Выдра! Мы заставим ее работать!» «Неужели?» – сказала Дуня. В далекой близи стали видны дома, пригорки и заборы Козлова.

Мы вошли в избу. С виду она была такая, какую я не надеялась увидать. Это была маленькая, полуразвалившаяся изба, которая стояла скривившись в сторону, вся покрытая темной соломой. Окна были тоже маленькие и косые. Внутри была одна только комната с русской печкой и скамейками.

У Дуни было пять детей и муж. У мужа была борода, он был очень грубый, грубо разговаривал с Дуней и детьми. Один раз он стал Дуню бить и хотел стукнуть ее головой об печку. Но я закричала и вцепилась в его рубаху. Он меня пихнул и ушел. По ночам он страшно храпел.

Дуня нас кормила картошкой. Все ее чистили пальцами и каждый себе солил. Когда был суп, все ели его из тазика, каждый своей деревянной ложкой. Ложки были очень неудобные, и я сначала обливалась.

Недавно я была на току. Меня посадили на сноп соломы, а сами стали молотить. Я глядела с очень большим вниманием. Их цепы были похожи на кнуты, только к концам были привязаны палки. Лежали маленькие снопы колосьев, и все стали бить по этим колосьям, из-за того, чтобы их потом есть. Так получаются зерна и хлеб.

Мы иногда ходили в лес за грибами и орехами, но я ничего не находила, потому что смотрела вокруг на красоту.

Вечером последнего дня моего одинокого пребывания в деревне прошла замечательная, густая, серая туча с золотой, холодной, лунной каймой. Ночью я проснулась и увидела, как светилась лампадка. «Завтра Успение», – подумала я и уснула.

Блок в жизни Марины Цветаевой был единственным поэтом, которого она чтила… Как божество от поэзии и которому, как божеству, поклонялась.

Просыпаюсь рано утром. Дуня топит русскую печку. Смотрю на другой бок и вижу Маринину загорелую шею и кудрявые волосы. На скамейке лежит ее маленький чемодан и одежда, а на

полу – два окурка.

Только что ушла Дуня, Марина воспрянула и, как грозный лев, рассыпала свою кудрявую голову. Я тихонько поцеловала ее.

Марина, шепотом: «Здравствуй, Алечка. Как ты живешь?» – «Ничего». – «А зачем ты вырывала листы из своего дневника?» – «Чтобы рисовать!» – «Свинский поступок», – ответила Марина. Но скоро она становится милостивей и слушает мои рассказы о грубом муже Дуни.

Завтрак был очень торжествен, потому что приехала «барышня», как там называли Марину. Все говорили ей приятные вещи и предлагали сахар. Потом мы посидели с Мариной на русской печке. Полюбовались, как вычищен самовар и как чисто вымыт пол. Потом посидели в замечательном палисаднике с бузиной и подсолнухами, за столом, который сам хозяин выкрасил синей краской. Марина разгрызала орехи и раздавала их Дуниным детям, Васе и Анюте, и мне. Потом мы читали про себя, свои книги – Марина про Французскую Революцию, а я привезла с собой книгу «Христианские дети». Второй и третий день такие же однообразные, и Марина с трудом прожила их.

Наконец настает отъезд. Меня, сонную, спавшую мало, будит Дуня. Встали почти все, даже хозяин, который так прекрасно спит по ночам. Петухи нам дали знать, что утро. На меня надели два платья и пальто, и мы пошли вместе со старшим сыном Дуни, Сережей.

Как только мы вышли и прошли меньше полуверсты, как я провалилась, почти по колено, в какую-то лужу и захныкала. Мы долго шли по пути, который вел через места, полные опасностью. Лужи, канавы и еще полная темнота. Сережа шел впереди, Марина на конце, а я в середине. Попадались почти непроходимые болота, но Сережа всегда находил узкую тропинку, по которой мы шли по очереди. Когда мы проходили через ток, то увидели, что нас укутал утренний туман, похожий на пар, шедший из земли. Небо пока еще было коричневатое, но нужно было ждать замечательной картины.

Скоро мы стали подходить к станции. Стояли в ряд несколько елочек, окутанных белым. Над ними красовалась темная, очень яркая полоса, густая и красная. А мы все шли около чьих-то огородов. Когда мы совсем подошли к станции, я посмотрела на небо. Большая часть его была покрыта красными, синими и серыми полосами. И тут я вдруг отчего-то заревела. Марина заметила: «Чего ты ревешь? Ты бы лучше на небо полюбовалась!» Я смутилась. Холодная утренняя заря ласково охватила мое лицо.

Все время шли товарные поезда. Предпоследний поезд был

нагружен царскими автомобилями с царскими гербами и значками. Они были очень красивые: на носиках и на дверцах у них были гербы.

Вскоре приехал первый поезд для людей. Мы долго ждали его остановки, но пока мы ждали, почти все люди уже влезли, и нам было не пробиться. Но зато успели на следующий.

Август 1919

Молочница Дуня приходила к нам – с бидоном в руке и с мешком за спиной – с незапамятных времен и вплоть до тяжкой зимы 1919–1920 года, в которую просто исчезла. Мы так никогда и не узнали, что с ней, жива ли она?

В эту же зиму умерла моя младшая сестра Ирина – та, что пила молоко, – крутолобая, в буйных светлых локонах, сероглазая девочка, все распевавшая «Маена, Маена моя!» (Марина моя!) – и как-то даже естественным показалось, что пересохла и молочная струйка, питавшая ее.

В постоянстве Дуниных приходов, в кроткой обреченности, с которой брала она за бесценное молоко ничего не стоившие бумажные тысячи и миллионы, а не меняла его, как все «деревенские», на вещи, в той щедрости, с которой отмеряла его в подставленную кастрюлю, было нечто, роднившее ее с самой Мариной, столь отзывчивой и столь не «деловой».

Они подружились по-своему – странная «барыня» и странная молочница. Дружба эта – двух матерей – почти не нуждалась в словах; у Марины нас было двое, а у Дуни – три сына и две дочки; Марина часто дарила Дуне что-нибудь из нашего хаотического хозяйства, а та – не обессудьте! не побрезгуйте! – угощала нас мятыми, картофельно-ржаными лепешками, а то и совала Ирине крутое, придавленное в поездной толчее, яйцо.

Черты Дуниного лица были строгие, а выражение – мягкое, как бы прислушивающееся, чуть удивленное и виноватое. Сколько ей могло быть лет? – не знаю; материнские лица вне возраста.

Однажды Дуня приехала не одна – за ее бурую кофту, в талью, с буфами – держался Вася, младший из ее мальчиков, мой сверстник. «Вот, барыня, привезла его Москву посмотреть. Все приставал, какая она, да какая – Москва-то!» – «Ну как, – спросила Марина, – понравилось тебе в городе?» Мальчик молчал отчаянно, не отрывая глаз от собственных лаптей, и начал оттаивать – мотать и кивать головой – только на кухне за самоваром. Самовар же был непростой: с того дня, как Марина попробовала сварить в нем пшено, он заткнулся навечно, и кипяток из него приходилось добывать через верх.

После чая Вася разомлел, стал клевать носом; Марина

предложила Дуне уложить его; кровать была металлическая, с шишечками, с пружинным матрасом. Мальчик приоткрыл слипающиеся глаза, в них мелькнуло материнское, изумленно-извиняющееся выражение. «Первый раз на пружине сплю!» – прошептал он. Марина закусила губу. «Оставьте его погостить у нас, Дуня, – проговорила она. – Москву ему покажу…» И Вася остался.

Марина обула его в мои башмаки, водила в Кремль и в Зоологический сад, все терпеливо объясняла и рассказывала.

Как некогда я в цирке, Вася смотрел не туда и не на то; в Зоологическом саду больше всего поразили его деревья, обнесенные решетками. «Глянь-ка, и деревья в клетку посадили… чудно!» Дома Васей завладевала я, глуша его книжками, игрушками и собственным превосходством: как-никак я ведь была грамотная и городская! Правда, когда он уезжал, игрушки я отдала ему почти все и без Мариниого напоминания, а что до столичного моего превосходства, то хватило нескольких дней, даже часов, проведенных мною в Козлове, чтобы доказать, что бестолковее меня нет во всей деревне.

Приехавшая за мной Марина у Дуни не загостилась. «Отдыхать», когда все кругом трудятся, она не могла, а работать по-крестьянски не умела. Крестьянский «патриархальный быт» – со всепожирающей русской печью во главе угла – ужасал и возмущал ее. Неподъемности его не искупала ни прелестная природа со всеми ее восходами и закатами, ни песни за рекой, ни расшитые полотенца под иконами…

Еще одна простая женщина была так же, как и Дуня, молчаливо добра к Марине и мила ей душевно – жена жившего во дворе нашего дома сапожника Гранского.

У Гранских была очень маленькая, чистенькая полуподвальная квартира-норка; в одной из комнатушек ее постоянно постукивал молотком мрачноватый сапожник. Иногда он бывал «выпимши», и тогда вся семья его – жена и трое детей поеживались, оглядывались и шептались.

Когда ни зайдешь к ним, а ход был через кухню, – видишь: на длинном медном кране над раковиной лежит, подобрав лапки, кошка и время от времени слизывает набегающую каплю, а жена сапожника все возится по хозяйству – стирает, стряпает, шьет.

Вот эта-то женщина, маленькая, невидная, такая же, как Дуня, безвозрастная, часто забегала к нам с черного хода, доставала из-под платка мисочку с несколькими картошками или с ячменной кашицей, совала ее Марине в руки, приговаривая: «Кушайте на здоровье! Не стоит благодарности!» И еще, отправляя в деревню к бабушке младшую, слабенькую дочку,

отдавала нам ее продуктовую карточку.

Вообще же в трудные годы помогали Марине только женщины. Мужчинам это просто не приходило в голову. Или так редко!

Вечер Блока

Выходим из дому еще светлым вечером. Марина объясняет мне, что Александр Блок – такой же великий поэт, как Пушкин. И волнующее предчувствие чего-то прекрасного охватывает меня при каждом ее слове. Марина сидит в крохотном ковчеге художника Милиотти и рассматривает книги. Его самого нет.

Я бегаю по саду. Вывески: «Читает Александр Блок», «В Политехническом музее читает П. Коган». И вообще все по-праздничному – как на Воробьевых горах: в аллеях под деревьями продают лепешки и играет граммофон.

Наконец приходят художники Милиотти и Вышеславцев и поэт Павлик Антокольский с женой. Мы идем за билетами. Входим в переднюю с раковинами, где серебряный истукан с пикой звонит «К Блоку». Идем в розовую бархатную залу. Все места заняты, а Его все еще нет. Антокольский приносит нам несколько стульев. Чуть только расселись, в толпе проносится шепот: «Блок! Блок! – Где он? – Блок! – За столик садится! – Сирень…» Все изъявляли безумную радость.

Деревянное лицо вытянутое. Темные глаза опущенные, неяркий сухой рот, коричневый цвет лица. Весь как-то вытянут, совсем мертвое выражение глаз, губ и всего лица.

Он читает поэму «Возмездие». Там говорится про Байрона, про ненастоящего Байрона, который очаровал младшую дочь из старой дворянской семьи. И будто дочь вышла за него замуж, и он увез ее с собой. В один сумрачный день она приехала одна. Худая, утомленная, она держала на руках грудного ребенка. И вот сын стал взрослый, но не пошел воевать, а веселился на балах. И вот один раз, танцуя, он узнал, что его отец умирает в Варшаве на улице Роз. Но когда он туда приехал, то увидел, что отец лежит в постели мертвый. (Описание наружности отца в гробу совсем совпадает с наружностью Блока. Благородные глаза закрыты. Тело вытянуто и благородно. На пальце – обручальное кольцо.) Сын снял кольцо с благородного пальца отца и перекрестил отца на сон веков.

Когда сын стоял у могилы, тут же была женщина в черном платье и траурной вуали.

В другой части Александр Александрович читал про войну, про войска, которых много погибло в бою, но они шли, полные героизма, и на них смотрела императрица.

Он говорил ровным, одинаковым голосом.

Мне кажется, он еще говорил, что сын забыл отца.

Потом А. А. Блок остановился и кончил. Все аплодируют. Он

смущенно откланивается. Народ кричит: «Прочтите несколько стихов!», «Двенадцать»! ««Двенадцать», пожалуйста!»

– Я… я не умею читать «Двенадцать»!

– «Незнакомку»! «Незнакомку»!

«Утро туманное, – читает А. А. Блок. – Как мальчик шаркнула, поклон отвешивает. До свиданья! И звякнул о браслет жетон. Какое-то воспоминанье!» (Эти строки остались у меня в памяти с ранних лет и останутся навсегда.)

Больше я стихов в напеве не помню, но могу передать в прозе: «Твое лицо лежит на столе в золотой оправе передо мной. И грустны воспоминания о тебе. Ты ушла в ночь в темно-синем плаще. И убираю твое лицо в золотой оправе со стола».

А.А. Блок читает «колокольцы», «кольцы», оканчивая на «ы». Читает деревянно, сдержанно, укороченно. Очень сурово и мрачно. «Ты хладно жмешь к моим губам свои серебряные кольцы».

Иногда Блок забывал слова и тогда оглядывался на сидящих за его спиной даму и господина, которые, слегка улыбаясь, подсказывали ему.

У моей Марины, сидящей в скромном углу, было грозное лицо, сжатые губы, как когда она сердилась. Иногда ее рука брала цветочки, которые я держала, и ее красивый горбатый нос вдыхал беззапахный запах листьев. И вообще в ее лице не было радости, но был восторг.

Становилось темно, и Блок с большими расстановками читал. Наверное, от темноты. Тогда какой-то господин за нашей спиной зажег свет. Зажглись все свечи в люстре и огромные лампы по бокам комнаты, очень тусклые, окованные в толстое стекло.

Через несколько минут все кончилось. Марина попросила В. Д. Милиотти привести меня к Блоку. Я, когда вошла в комнату, где он был, сперва сделала вид, что просто гуляю. Потом подошла к Блоку. Осторожно и легко взяла его за рукав. Он обернулся. Я протягиваю ему письмо[9]. Он улыбается и шепчет: «Спасибо». Глубоко кланяюсь. Он небрежно кланяется с легкой улыбкой. Ухожу.

15 мая 1920 г.

Блок в жизни Марины Цветаевой был единственным поэтом, которого она чтила не как собрата по «струнному рукомеслу», а как божество от поэзии, и которому, как божеству, поклонялась. Всех остальных, ею любимых, она ощущала соратниками своими, вернее – себя ощущала собратом и соратником их, и о каждом – от Тредиаковского до Маяковского – считала себя вправе сказать, как о Пушкине: «перья на востроты знаю, как чинил: пальцы не

просохли от его чернил!»

Более того, каждого из них – даже бесплотнейшего Рильке! – почитала и осязала она братом еще и по плоти и крови, зная, что стихи не одним лишь талантом порождаются, а и всеми бедами, страстями, слабостями и радостями живой человеческой плоти, ее болевым опытом, ее волей и силой, потом и трудом, голодом и жаждой. Не меньшим, чем творчеству поэтов, было ее со-чувствие и со-страдание их физической жизни, «стесненности обстоятельств» или стесненности обстоятельствами, сквозь которые ей, жизни, надлежало пробиваться.

Бальмонт принадлежал к тем редчайшим людям, с которыми взрослая Марина была на «ты»…

Творчество одного лишь Блока восприняла Цветаева как высоту столь поднебесную – не отрешенностью от жизни, а – очищенностью ею (так огнем очищаются!), что ни о какой сопричастности этой творческой высоте она, в «греховности»

своей, и помыслить не смела – только коленопреклонялась. Таким поэтическим коленопреклонением, таким сплошным «аллилуйя» стали все ее стихи, посвященные Блоку в 1916 и 1920–21 годах, и проза о нем, с чтением которой она выступала в начале 30-х годов в Париже; нигде не опубликованная, рукопись эта не сохранилась.

Подобно тому, как читатели моего поколения говорят «Пастернак и Цветаева», так ее поколение произносило «Блок и Ахматова». Однако для самой Цветаевой соединительная частица между этими двумя именами была чистейшей условностью; знака равенства между ними она не проводила; ее лирические славословия Ахматовой являли собой выражение доведенных до апогея сестринских чувств, не более. Они и были сестрами в поэзии, но отнюдь не близнецами; абсолютная гармоничность, духовная пластичность Ахматовой, столь пленившие вначале Цветаеву, впоследствии стали ей казаться качествами, ограничивавшими ахматовское творчество и развитие ее поэтической личности. «Она – совершенство, и в этом, увы, ее предел», – сказала об Ахматовой Цветаева.

Помню, как Павлик Антокольский принес и подарил Марине «Двенадцать» Блока, большого формата, белую с черным – Черный вечер, белый снег – книгу с пронзительными анненковскими иллюстрациями; как прямо с порога бывшей нашей столовой начал читать, сверкая угольными, дикими глазищами; как отбивал в воздухе такт кулаком; как шел на нас, слепо огибая препятствия, пока не уперся в стол, за которым сидела и из-за которого ему навстречу привстала Марина; как дочитал до конца, и как Марина, молча, не поднимая глаз, взяла у него книгу из рук. В минуты потрясений она опускала веки, стискивала зубы, не давала выхода кипевшему в ней, внешне леденея. Феномен «Двенадцати» не только потряс ее, но в чем-то основном творчески устыдил, и за себя, и за некоторых ее современников-поэтов. Об этом много и резко говорилось в той ее, Блоку посвященной прозе, в частности о том, что «Балаганчик», оставленный Блоком за пределами Революции, именно в Революцию послужил, пусть недолговечным, но убежищем – многим поэтам, начиная с нее самой, создавшей в ту пору цикл изящных не по эпохе пьес…

Но —

Не Муза, не Муза, – не бренные узы
Родства – не твои путы,
О Дружба: – Не женской рукой, – лютой!
Затянут на мне —

Узел.

Сей страшен союз. – В черноте рва
Лежу – а Восход светел.
О, кто невесомых моих два
Крыла за плечом – Взвесил?

В поэме «На красном коне» (1921), зашифрованной посвящением Анне Ахматовой, впоследствии снятом, предстает сложный, динамичный в своей иконописности образ «обожествленного» Цветаевой Блока – создателя «Двенадцати», Георгия Победоносца Революции, чистейшего и бесстрастнейшего Гения поэзии, обитателя тех ее вершин, которые Цветаева считала для себя недосягаемыми.

Видела и слышала она Блока дважды на протяжении нескольких дней, в Москве, 9 и 14 мая 1920 года, на его чтениях в Политехническом музее и во Дворце Искусств. Знакома с ним не была и познакомиться не отважилась, о чем жалела и – чему радовалась, зная, что только воображаемые встречи не приносят ей разочарования…

Юбилей Бальмонта

Мы с Мариной пришли во Дворец Искусств, зная, что сегодня необыкновенный праздник – юбилей Бальмонта. В саду я немного отстала и вдруг вижу Бальмонта с Еленой и Миррой и розу-пион в руках Бальмонта. Марина берет билет, и мы идем в залу. Елена (по-бальмонтовски Элэна) уже заняла свое место. Мирра знаками зовет меня поделить с ней розовую мягкую табуретку. Вносят два голубых в золотой оправе стула, а третий – кресло для Бальмонта. Его ставят посередине.

Бальмонт входит, неся тетрадь и розу-пион. С грозным, львиным и скучающим лицом он садится, на один стул кладет тетрадку и цветы, а на другой садится поэт Вячеслав Иванов. Все рукоплескают. Он молча кланяется, несколько минут сидит, потом встает в уголок между стулом и зеркалом и, покачивая свое маленькое кресло, начинает речь о Бальмонте, то есть Вступительное Слово.

К сожалению, я ничего не поняла, потому что там было много иностранных слов. Иногда среди речи Вячеслава Ивановича раздавались легкие рукоплескания, иногда – возмущенный шепот несоглашающихся.

На минуточку выхожу из душной залы вниз, в сад, пробегаю его весь, не минуя самых закоулков, думая в это время, как же это люди могли жить в таких сырых, заплесневелых подвалах дома Соллогуба. Возвращаюсь, когда Вячеслав Иванович кончает, вылезает из своего углового убежища и крепко пожимает Бальмонту руку.

Я хочу описать теперь наружность Вячеслава Иванова. Неопределенные туманные глаза, горбатый нос, морщинистое желтое лицо. Потерянная сдерживаемая улыбка. Говорит с легкой расстановкой, не шутит, все знает, учен – не грамоте и таким вещам, а учен, как ученый. Спокойный, спокойно ходит и спокойно глядит, не пламенный, а какой-то серый…

Самое трогательное во всем празднике – это японочка Инамэ.

Когда ее вызвали: «Поэтесса Инамэ», она вышла из-за кресла Бальмонта, сложила ручки и трогательно начала свою простую речь. Она говорила: «Вот я стою перед Вами и вижу Вас. Завтра уже я должна уехать. Мы помним, как Вы были у нас, и никогда не забудем. Вы тогда приехали на несколько дней, и эти несколько дней… что говорить!.. Приезжайте к нам, и надолго, чтобы мы вечно помнили, что Вы были у нас – великий поэт!»

Тогда Бальмонт сказал: «Инамэ! Она не знала, что у меня есть готовый ответ!» Все засмеялись. Он встал, вынул из кармана

небольшую записную книжечку и начал читать стихи, вроде: «Инамэ красива и ее имя так же красиво», и вообще стих лестный каждой женщине.

И еще одна женщина, английская гостья, встала и этим дала знать Бальмонту, что она хочет сказать ему что-то. Бальмонт встал. Гостья говорила по-английски. Когда она кончила, Бальмонт взял букет пионов и вручил ей. Лучше бы он отдал цветы японочке, которая не заученно и просто сказала свою маленькую речь!

Кто-то громко сказал: «Поэтесса Марина Цветаева». Марина подошла к Бальмонту и сказала: «Дорогой Бальмонтик! Вручаю Вам эту картину. Подписались многие художники и поэты. Исполнил В. Д. Милиотти». Бальмонт пожал руку Марине, и они поцеловались. Марина как-то нелюдимо пошла к своему месту, несмотря на рукоплескания. В это время стали играть на рояле музыку, такую бурную, что чуть не лопались клавиши. Пружины приоткрытого рояля трещали и вздрагивали, точно от боли. Мирра зажимала уши и улыбалась. А я совершенно равнодушно стояла и вспоминала, что видела поэта «Великого, как Пушкин – Блока». Совсем недавно.

Последним выступал Федор Сологуб. Он сказал: «Не надо равенства. Поэт – редкий гость на земле. Поэт – воскресный день и праздник Мира. У поэта – каждый день праздник. Не все люди – поэты. Среди миллиона – один настоящий».

При словах Сологуба «не надо равенства» вся толпа заговорила в один голос: «Как кому! Как кому! Не всем! Не всегда!»

Я уже думала, что все, как вдруг выступил Иван Сергеевич Рукавишников. В руках его – стихотворный журнал. Выходит и громко почти кричит свои стихи К. Д. Бальмонту. Когда он кончил, Бальмонт пожал ему руку…

Схожу с лестницы и думаю – почему в Дворце Соллогуба не было ночного праздника Бальмонта– с ракетами.

Вместе с Бальмонтом и его семьей идем домой.

1920

Как возникла дружба Марины с Бальмонтом – не помню: казалось, она была всегда. Есть человеческие отношения, которые начинаются не с начала, а как бы с середины и которые вовсе не имели бы конца, не будь он определен всему сущему на земле. Они длятся и длятся, минуя исходную, неустойчивую пору взаимного распознавания и итоговую, болевую – разочарований.

Эта, прямолинейная, протяженность дружбы, эта беспрерывность и безобрывность ее (внешние причины обрывов –

не в счет, говорю о внутренних) не были свойственны Марине, путнику не торных дорог.

Чаще всего она чересчур горячо увлекалась людьми, чтобы не охладевать к ним, опять-таки чересчур! (Но что такое «чересчур» для поэта, как не естественное его состояние!) В слишком заоблачные выси она возносила их, чтобы не поддаваться искушению низвергнуть; слишком наряжала в качества и достоинства, которыми они должны были бы обладать, не видя тех, которыми они, быть может, обладали… Не женское это было свойство у нее! – ведь наряжала она других, а не себя и, по-мужски, просто была, а не слыла, выглядела, казалась. И в этой ее душевной, человеческой непринаряженности и незагримированности таилась одна из причин ее разминовений и разлук и – возникновения ее стихов – сейсмограмм внутренних потрясений.

Чем же была порождена дружба – столь длительная, без срывов и спадов, связывавшая именно этих двух поэтов?

Во-первых, поэтическому воображению Марины просто не было пищи в Бальмонте, который уже был, впрочем, как и сама Марина, максимальным выражением самого себя, собственных возможностей и невозможностей. Он, как и она, существовал в превосходной степени, к которой – не прибавишь.

Во-вторых, разностихийность, разномасштабность, разноглубинность их творческой сути была столь очевидна, что начисто исключала самую возможность столкновений: лучшего, большего, сильнейшего Марина требовала только от родственных ей поэтов.

Оба они были поэтами «милостью божьей», но Марина всегда стояла у кормила своего творчества и владела стихией стиха, в то время как Бальмонт был ей подвластен всецело.

Ни о ком – разве что о первых киноактерах! – не слагалось до революции столько легенд, сколько рождалось их о Бальмонте, баловне поэтической моды. И юной Цветаевой он казался существом мифическим, баснословным. Октябрь же свел ее с живым и беспомощным (пусть необычайно деятельным, но – не впрок!) человеком, чья звезда со скоростью воистину космической устремлялась от зенита к закату. Одного этого было достаточно, чтобы Марина тотчас же подставила плечо меркнувшей славе, обреченному дарованию, надвигающейся старости…

На себя легендарного Бальмонт и походил, и не походил; изысканная гортанность его речи, эффектность поз, горделивость осанки, заносчивость вздернутого подбородка были врожденными, не благоприобретенными; так он держался всегда, в любом положении и окружении, при любых обстоятельствах, до

конца. Вместе с тем оказался он неожиданно рыхловат телом, не мускулист и приземист, с мягкими, совсем не такими определенными, как на портретах, чертами лица под очень высоким лбом – некая помесь испанского гранда с иереем сельского прихода; впрочем – гранд пересиливал.

Также неожиданными оказались и Бальмонтова простота, полнейшее отсутствие рисовки, и – отсутствие водянистости и цветистости в разговоре: сжатость, точность, острота речи. Говорил он отрывисто, как бы откусывая слова от фразы.

Наряду с почти уже старческой незащищенностью перед жизнью было у него беспечное, юношеское приятие ее такой, как она есть; легко обижаясь, обиды стряхивал с себя, как большой пес – дождевые капли.

Бальмонт принадлежал к тем, редчайшим, людям, с которыми взрослая Марина была на «ты» – вслух, а не в письмах, как, скажем, к Пастернаку, которого, в пору переписки с ним, почти не знала лично, или к Рильке, с которым не встречалась никогда. Чреватое в обиходе ненавидимым ею панибратством, «ты» было для нее (за исключением обращения к детям) вольностью и условностью чисто поэтической, но отнюдь не безусловностью прозаического просторечия. Перейдя на «ты» с Бальмонтом, Марина стала на «ты» и с его трудностями и неустройствами; помогать другому ей было всегда легче, чем себе; для других она – горы ворочала.

Марина Цветаева. Прага. 1924 г.

В первые годы революции Бальмонт и Марина выступали на одних и тех же литературных вечерах, встречались в одних и тех же домах. Очень часто бывали у большой приятельницы Марины – Татьяны Федоровны Скрябиной, вдовы композитора, красивой, печальной, грациозной женщины, у которой собирался кружок людей, прикосновенных к искусству. Из завсегдатаев-музыкантов

больше всего запомнился С. Кусевицкий, любой разговор неуклонно переводивший на Скрябина. Дочерей композитора и Татьяны Федоровны звали, как нас с Мариной. После смерти матери в 1922 году, вместе с бабушкой-бельгийкой и младшей своей сестрой, Ариадна Скрябина, тогда подросток, выехала за границу. Двадцатилетие спустя она, мать троих детей, стала прославленной героиней французского Сопротивления и погибла с оружием в руках в схватке с гитлеровцами.

На наших глазах квартира Скрябина начала превращаться в музей; семья передала государству сперва кабинет композитора, в котором все оставалось, как при нем и на тех же местах, и в этой большой комнате с окнами, выходившими в дворовый палисадник с цветущими в нем до середины лета кустами «разбитых сердец», начали изредка появляться первые немногочисленные экскурсанты.

Почти всегда и почти всюду сопровождала Бальмонта его жена Елена, маленькое, худенькое, экзальтированное существо с огромными, редкостного фиалкового цвета глазами, всегда устремленными на мужа. Она, как негасимая лампадка у чудотворной иконы, все время теплилась и мерцала около него. Марина ходила с ней по очередям, впрягалась в мои детские саночки, чтобы помочь ей везти мороженую картошку или случайно подвернувшееся топливо; получив пайковую осьмушку махорки, отсыпала половину «Бальмонтику»; он набивал ею великолепную английскую трубку и блаженно дымил; иногда эту трубку они с Мариной, экономя табак, курили вдвоем, деля затяжки, как индейцы.

Жили Бальмонты в двух шагах от Скрябиных и неподалеку от нас, вблизи Арбата. Зайдешь к ним – Елена, вся в саже, копошится у сопротивляющейся печурки, Бальмонт пишет стихи. Зайдут Бальмонты к нам, Марина пишет стихи, Марина же и печку топит. Зайдешь к Скрябиным – там чисто, чинно и тепло, – может быть, потому, что стихов не пишет никто, а печи топит прислуга…

Когда Бальмонты собрались за границу – думалось, что ненадолго, оказалось – навсегда, мы провожали их дважды: один раз у Скрябиных, где всех нас угощали картошкой с перцем и настоящим чаем в безукоризненном фарфоре; все говорили трогательные слова, прощались и целовались; но на следующий день возникли какие-то неполадки с эстонской визой, и отъезд был ненадолго отложен. Окончательные проводы происходили в невыразимом ералаше: табачном дыму и самоварном угаре оставляемого Бальмонтами жилья, в сутолоке снимающегося с места цыганского табора. Было много провожающих. «Марина была самой веселой во всем обществе сидящих за этим столом.

Рассказывала истории, сама смеялась и других смешила, и вообще была так весела, как будто бы хотела иссушить этим разлуку», – записала я тогда в свою тетрадочку.

Но смутно было у Марины на душе, когда она перекрестила Бальмонта в путь, оказавшийся без возврата.

В эмиграции, продлившейся для Марины с 1922 по 1939 год, интенсивность дружбы ее с Бальмонтом оставалась неизменной, хотя встречи возникали после значительных перерывов, вплоть до 30-х годов, когда Константин Дмитриевич и Елена, перестав пытать счастья в перемене мест и стран, горестно, как и мы, пристали к парижским пригородам. Тогда мы стали видеться чаще – особенно когда заболел Бальмонт.

Трудно вообразить, каким печальным было постепенное его угасание, какой воистину беспросветной – ибо помноженной на старость – нищета. Помогали им с Еленой многие, но всегда ненадежно и недостаточно. Люди обеспеченные помогать уставали, бедные – иссякали… И все это: постоянство нищеты, постоянство беспомощности – было окружено оскорбительным постоянством чужого, сытого, прочного – и к тому же нарядного – уклада и обихода. К витринам, мимо которых Марина проходила, искренне не замечая их, Бальмонт тянулся, как ребенок, и, как ребенка уговаривая, отвлекала его от них верная Елена.

Болезнь Бальмонта постепенно уводила его с поверхности так называемой жизни в глубь самого себя, он обитал в своей, ставшей бессловесной и невыразимой, невнятной другим Океании, в хаотическом прамире собственной поэзии.

В последний раз я видела его и Елену в Париже, зимой 1936/37 года, у друзей. Рыжая бальмонтовская грива поредела, поседела и от седины приобрела неземной розоватый оттенок. Взгляд утратил остроту, движения – точность. Голова осталась такой же непоклонной, как и прежде, хотя тяжелые морщины тянули лицо вниз, к земле. Он деловито и отчужденно ел. Елена сидела рядом, почти бестелесная, прямая, как посох, которым она и служила этому страннику.

– Марина, – сказал вдруг Бальмонт, царственно прерывая общий тихий разговор, – когда мы шли сюда, я увидел высокое дерево, круглое как облако, все звеневшее от птиц. Мне захотелось туда, к ним, на самую вершину, а она (жест в сторону Елены) – вцепилась в меня, не пустила!

– И правильно сделала, что не пустила, – ласково отозвалась Марина. – Ты ведь Жар-Птица, а на том дереве – просто птицы: воробьи, вороны. Они бы тебя заклевали…

Лавка писателей

«Аля! Торопись, одевайся! Мы пойдем к Писателям, продавать книги». Я быстро надеваю розовое бархатное платье, самое лучшее, что у нас есть, и свою детскую «тигровую» шубу: «Марина! Я готова! Даже синий платок приготовила!»

Марина выходит из большой холодной комнаты, неся в корзиночке книги. Самые легкие она отложила мне в платок, и мы идем. Смотрим по дороге на Никитские часы. «Алечка! Сейчас половина первого, и мы как раз вовремя придем!»

Подходим к Лавке писателей. Марина крестится, хотя церкви никакой нет. «Что Вы, Марина…» – «Аля, как ты думаешь, не слишком ли много я писателям книг тащу?» – «Нет, что Вы! Чем больше, тем лучше». – «Ты думаешь?» – «Не думаю, а уверена!» – «Аля, я боюсь, что у меня из милости берут!» – «Марина! Они люди честные и всегда правду скажут. А если берут пока, то это от самого сердца».

Марина воодушевляется, но не без некоторого страха входит. Она здоровается с галантностью и равнодушием.

Кто-то гладит меня по голове. Испуганно поднимаю глаза: передо мною стоит молодой человек с веселым лицом, это Осоргин, «итальянец» – он переводит с итальянского языка книги и работает в Лавке. «Ну, как, Аля, хочешь посмотреть картонные царства?» (Картонными царствами он называл твердые листы с рисунками для вырезания и склеивания.) «Если можно, то покажите».

Пока он вынимал «картонные царства», мой взгляд упал на Бердяева. Это тоже был писатель, у него была такая болезнь, что он временами показывал язык. Он тоже работал в Лавке.

Бердяев быстро рассматривал и листал книги, которые ему приносили для продажи. «Да, да (язык). Да. Эта 1000 рублей. Эта – 5000! Ах, ах! Эта пьеса Луначарского – 6000!»

Разные люди и дети подходят к прилавкам, рассматривают и листают книги. Ко мне подошел крестьянин лет сорока, показал на детскую книжку, спросил: «Барышня, милая, грамотная, для Васютки эта книжка хороша будет?» – «А кто это, Васютка? Ваш сын?» – «Да мой племянник!» – «Я думаю, что да. Тут про двух богатырей – Еремея да Ивана». – «А почем же она? Тыщинку стоит?» – «Нет, сто рублей!» И счастливый крестьянин удаляется, забрав книгу Васютке.

Вот откуда-то вынырнул черный Дживелегов. Он встал за прилавком и любезно стал спрашивать каждого, кто подходил, – что ему нужно. Тем, кто книги приносил на продажу и попадал к

Дживелегову, было плохо. Он давал мало и пугал своей наружностью. Марина, идя в Лавку, всегда говорит: «Ах, только бы не попасть в лапы к Дживелегову!»

Сегодня у него на голове высокая меховая желтая шапка, и одет он в короткое женское пальто.

Марина смотрит книги и уже добралась до последней полки, как вдруг Осоргин спрашивает: «Марина Ивановна! Хотите посмотреть другие книги?» – «Как другие? Разве у вас есть еще что-нибудь, кроме этого?» – «Ну идем-идем, конечно, есть!» И он повел под руку изумленную Марину. Это помещение, куда мы шли, было раньше гостиницей. Вход был с улицы. Лестница гранитная, широкая. Осоргин весело рассказывает Марине про склад Лавки и про все, что касается книг.

Мы наконец входим в узкий лабиринт – коридор, и я с удивлением замечаю, что Осоргин вовсе в нем не путается. Он стучит в какую-то дверь, ему открывают двое мужчин. Они разбирали и перебирали книги и все время разговаривали. Я стала им помогать – ставить вывалившиеся книги на полки и складывать в ящик доски. Марина с яростью ищет немецкие и французские книги, нужные ей, и передает их мне, чтобы я их откладывала. Вдруг я вижу из-под горы серых пыльных книг какую-то разрисованную, будто русское полотенце. Я говорю Марине, и мы стараемся вытащить эту красоту. Гора, обдавая нас пылью, падает и рассыпается. В руках у Марины – замечательный календарь с юношами и стариками, смотря по временам года. Отобрав несколько книг и календарь, мы идем в другую комнату. Там опять множество книг – больших и маленьких, альбомов, просто бумаг, обложек, рисунков, журналов, нот, азбук, громадных латинских книжищ, французских стихов и просто лоскутков со всего света.

Не найдя там ничего, мы идем через весь коридор к другому концу его. Там Осоргин отпирает потайную дверку и впускает нас. Это маленькая комната с громадным окном, из которого солнечный свет падает прямо на маленький письменный стол, к которому придвинуто огромное кресло, заваленное книгами.

Осоргин в восторге говорит: «Это будет с весны мой летний кабинет!»

Осмотрев эти три комнаты, мы пошли опять вниз.

Я побежала вперегонки с Мариной по лестнице.

Вот мы и на улице. Заходим на минутку в Лавку писателей, чтобы заплатить деньги. Календарь мне Осоргин подарил даром. Мы вышли на весеннюю улицу, где еще лежали груды снега.

Так Марина торгует книгами: продает меньше, а купит

больше.

Март 1921

В 1918 году, вскоре после августовского постановления о ликвидации частных периодических изданий, возникла в Москве эта первая и единственная в своем роде Лавка писателей – книготорговое предприятие на паях, которое по замыслу его организаторов Б. Грифцова, А. Дживелегова, П. Муратова, М. Осоргина, В. Ходасевича, Б. Зайцева, Н. Бердяева и других должно было со временем преобразоваться в кооперативное издательство.

Вначале Лавка занимала небольшое, сильно поврежденное пулями недавнего Октября, помещеньице бывшей библиотеки в доме № 16 по Леонтьевскому переулку (унаследовав от своей предшественницы и книги и стеллажи), а к началу 1921 года перевелась на Большую Никитскую, в дом № 24.

Из лиц, не имевших отношения к литературе, там работал, кажется, только курьер; со всем остальным писатели справлялись сами: вели торговлю на комиссионных началах и за наличный расчет; разыскивали книги, утратившие хозяев, – и продавали их новым; отбирали наиболее редкие издания для передачи их Румянцевскому музею, чья библиотека легла в основу Ленинской; корпели над отчетностью; были лекторами и докладчиками в созданном ими при Лавке «Студио Итальяно», а также сортировщиками, грузчиками, оценщиками и кем только НЕ!

Помимо печатного слова в Лавке можно было приобрести и рукописное: автографы писателей и поэтов – самодельные книжки из разномастной – от веленевой до оберточной – бумаги, иногда иллюстрированные и переплетенные авторами; за время существования Лавки там было продано около двух сотен таких выпусков, в том числе и несколько Марининых, ничем не разукрашенных выпусков, крепко сшитых вощеной ниткой и аккуратно заполненных красными чернилами.

И в самом магазинчике этом, ненадежно и таинственно освещенном, и в слишком старинном запахе потревоженных книг, а главное, в обличье людей, стоявших за прилавками, в их одежде и речах было, как теперь вспоминается, нечто и от русского лубка, и от западного ренессанса, нечто странное и вневременное.

Однако Марину, которой самой было не занимать в странности и вневременности, эти качества «лавочников» не только не привлекали, но – отшатывали. Ее вневременность была динамическим несовпадением в шаг, то отставанием от него («… время, я не поспеваю!»), то стремительным обгоном («…либо

единый вырвала Дар от богов – бег!»), тогда как дух – классицизма? академизма? – царивший в Лавке – со второго по пятый год Революции, – противостоял современности, хотя бы неколебимой статичностью своей, и ею-то и был чужд Марине.

С Ариадной. 1924 г.

В Лавку она приходила редко, в основном тощего приработка ради, – с книгами на продажу или с автографами на комиссию; «на огонек» не забегала, «Студию Итальяно» – своего рода клуб, конкурировавший с Дворцом Искусств, – не посещала. Несколько роднее ей был «Дворец», открытый всем литературным течениям, веяниям и ветрам той поры, – с разноголосицей его вечеров и дискуссий, равноправным и действенным участником которых она была.

«Лавочники» относились к Марине в общем терпимо – она к ним тоже – но, за исключением, пожалуй, Грифцова и Осоргина, не любили, она их, за тем же исключением, – тоже.

Самыми длительными и сомнительными были ее отношения с писателем Б. К. Зайцевым – дружелюбно-неприязненные в России, утратившие даже видимость дружелюбия за границей; и в самую лучшую пору этих отношений Марину безмерно раздражали зайцевские добродетели, а его – цветаевские недостатки, к которым, впрочем, он относил и все ее творчество. Он не прощал ей ее крайностей, она ему – его золотосерединности.

Отношения эти усложнялись тем, что Борис Константинович и его жена Вера много помогали Марине в 20-е годы; если Вера, с которой Марина искренне дружила, оказывала ей эту помощь со всей простотой и душевной щедростью, то действия Бориса Константиновича несколько отдавали благотворительностью, втайне осуждающей чужое (чуждое!) неблагополучие и – въяве – снисходительной к нему.

Благотворительность же – во всех ее (унизительных) нюансах никогда не вызывала у Марины ни малейшего чувства благодарности, может быть потому, что она слишком часто бывала вынуждена прибегать к чужой помощи, в то время как помощь должна приходить сама.

Сверх того, Зайцев в эмиграции не простил Марине «большевизма» ее мужа, который расценил как ее собственный, к каковым обстоятельствам Вера Зайцева и дочь ее Наташа, моя подруга детства, отнеслись без предвзятости; с ними мы продолжали общаться поверх всех внутриэмигрантских частоколов…

Помню, читая какой-то зайцевский «подвал», Марина сказала: «Смесь сусальности со злобой». Про внешность Бориса Константиновича говорила: «Профиль – дантовский, а брюшко – обломовское!» – хотя Зайцев был довольно худощав.

Ни одной московской встречи Марины с другим основателем Лавки В. Ф. Ходасевичем я не помню, да и она о них не говорила. В эмиграции они – стойкий Классик и стремительный

Неоромантик (оба – «пушкинисты», на свой, другому противоположный лад) – были на ножах, но в середине 30-х годов сблизились, распознав друг в друге поэтов. Сблизились по тому же самому закону, по которому сама поэзия, во всей ее разноголосице, обретает однажды единое русло. И оба были счастливы, что, как писал Ходасевич Марине, «встретились прижизненно, а не в каком-нибудь посмертном издании», как это слишком часто случается с поэтами, современниками лишь по календарю. Главное же чудо их поздней дружбы заключалось в том, что, возникнув и перечеркнув былую вражду, она утвердилась в пору самого великого одиночества Марины, самого великого противостояния эмиграции, в которую врос Ходасевич, но над которой сумел, хотя бы в этом случае, подняться во весь свой человеческий и поэтический рост.

Умер Ходасевич в июне 1939 года, вскоре после возвращения Цветаевой в СССР. О смерти его она не знала и не узнала, рассказывала мне о нем – живом и показывала переписанные ею в свою черновую тетрадь его стихи, начинавшиеся словами: «Был дом, как пещера».

Под ними была приписка: «Эти стихи могли бы быть моими. М. Ц.».

Страницы былого

Последний день в Москве

Это был обыкновенный пасмурный день московской запоздалой весны. Весны 1922 года. Серый будничный денек сквозь серые, с которой уж зимы не мытые окна.

Мы встали рано, Марина растопила «буржуйку», разогрела кашу для меня и свой кофейник; наскоро поели, Марина ушла в Наркоминдел, поручив моим заботам кастрюлю с варящимся супом – и печурку.

Я послонялась по комнатам; к тому времени их в нашем распоряжении оставалось три: проходная, полутемная, с одним лишь тусклым окном-фонарем в потолке, – столовая; маленькая, об одно окошко, глядящее во двор, – Маринина и большая, самая светлая, просторная и безликая, давно уже необитаемая, – детская. Верхний полуэтаж был заселен новыми жильцами – не помню их теперь, ибо тогда не осознала. В четвертой из нижних комнат – гостевой – обосновалась горбатая корсетница, злая и профессионально-слащавая, и ее двояковыпуклый манекен на высокой точеной подставке.

На нашей половине царил унылый предотъездный хаос, ничего общего не имевший с тем живым и неувядаемо-разнообразным, порой веселым беспорядком, в котором мы, лишившиеся прислуг и не обретшие их навыков, «содержали квартиру» – а она нас.

Теперь вещи, еще недавно обладавшие качествами и недостатками веса, формы, объема, цвета, вещи-необходимости и вещи-прихоти, вещи-привычки и вещи-обуза, наследственные, благоприобретенные, дареные, вещи добротные, праховые, случайные, удобные, нелепые, уютные, вещи-неизбежность, окружавшие нас, – все они, покидаемые нами, вдруг как бы утратили предметность и ту обиходную теплоту, которой наделяла их живая связь с людьми, служение им.

Что до тех вещей, что и вещами-то не назовешь, настолько они – дух: все любимые книги, Сережин портрет работы коктебельской художницы Магды Нахман, бабушкина музыкальная шкатулка, бюст раненой амазонки – провозвестницы грядущих цветаевских трагедий на античные темы, венчальная икона – «дедушкино благословение», стереоскоп с сотнями московских и крымских двойных фотографий, на которых (остановись, мгновенье!) – юность моих родителей и все возрасты их друзей, вся предгрозовая беспечность канувших лет! – детские Маринины тетрадки с первыми ее стихами (там: «Ты лети, мой конь ретивый, чрез поля и чрез луга и, помахивая гривой, отнеси

меня – туда!» – так нравившийся мне маленькой Маринин младенческий Пегас – еще жеребенок!), с размашистыми, угловатыми ее рисунками (девочка падает с лестницы, внизу которой – предательское ведро с помоями!), с наклеенными альбомными виньетками, глянцевитыми и выпуклыми, – то все это и многое еще или – часть всего, по собственному выбору, должна была взять к себе мамина сестра Ася, в ту пору находившаяся в отъезде.

Багаж наш – сундучок с рукописями, чемодан, портплед, все – за исключением овальной густоплетеной корзины с «хозяйством» – было упаковано, затянуто ремнями и лежало у дверей столовой.

Что мы везли с собой? Вот сохранившийся в одной из материнских тетрадей —

«Список (драгоценностей за границу):

Карандашница с портретом Тучкова IV
Чабровская чернильница с барабанщиком
Тарелка со львом
Сережин подстаканник
Алин портрет
Швейная коробка
Янтарное ожерелье

Тарелка, которую Марина Ивановна всюду возила с собой. Ей представлялось, что гривастый лев, изображенный на тарелке, напоминает Волошина

(*Алиной рукой*):
Мои Валенки
Маринины сапоги
Красный кофейник
Синюю кружку новую
Примус, иголки для примуса
Бархатного льва».

(Бархатный лев – слегка обгоревший на первой в моей жизни елке и, в качестве погорельца, самый любимый из игрушечных моих зверей, лакированная карандашница с портретом юного полководца 1812 года, тяжелая фаянсовая тарелка с золотисто-коричневым рисунком, изображающим крадущегося сквозь растительный орнамент гривастого «царя зверей с лицом Макса Волошина», серебряный подстаканник с Сережиными инициалами – Маринин свадебный подарок – и янтарное ожерелье: грубо

граненные, архаические «колеса» цвета темного пива, нанизанные на вощеную суровую нитку, – в голодный год выменянное Мариной, вместо хлеба, где-то под Рязанью, – были с Мариной неразлучны, странствовали вместе с ней по Германии, Чехии, Франции, а в 1939 году были вновь привезены ею в Россию, где и пропали в войну. Фарфоровая же чернильница с барабанщиком была когда-то кому-то мимоходом подарена.)

Еще с нами ехал любимый Маринин плюшевый плед, последний подарок ее отца; и кустарные игрушки – в подарок Эренбургу; и первые советские детские книжки – среди них замечательный букварь с картинками, на букву «И» был стишок: «Ильич железною метлой сметает нечисть с мостовой» – и нарисован Ленин в дворницком фартуке с огромным помелом в руках, а из-под помела летят в канаву раскоряченные фигурки-инфузории: цари, генералы, капиталисты.

Одежды, обуви почти не осталось: все было сношено, распродано, роздано, поэтому носильных вещей везли совсем мало, вот только мои новые (весной! за границу!) Валенки с большой буквы, так и внесенные в «список драгоценностей», да Маринины разноцветные, узорные казанские сапожки!

Я подкладывала дрова в печурку, доливала выкипавший суп, тыкала вилкой в мясо: конина была жесткой и все не разваривалась.

Чтобы развеселить Марину, такую в последнее время озабоченную и усталую, я решила сделать ей «сюрприз» – сунула в кастрюлю свою куколку-пищалку из красной, под цвет конины, резины, представляя себе, как мама выловит ее половником и как будет смешно…

Раздался стук в дверь; нет, не Марина! – пришли попрощаться Майя Кудашева, одна из недавних – и на всю жизнь! – волошинских питомиц и недолгосрочных Марининых приятельниц, вскоре уехавшая во Францию и впоследствии ставшая женой Ромена Роллана, и Маруся Гринева, вторая жена Асиного мужа Бориса Трухачева, со своей маленькой дочкой Ириной, приходившейся сестрой Асиному сыну, а мне – никем, к неизменному моему удивлению.

Стараясь развлечь посетительниц, я что-то рассказывала им, показывала книги, но Майя вскоре соскучилась и ушла, не дождавшись Марины. Наконец раздался ее стук – резкий, нетерпеливый – я бросилась открывать. Марина вошла стремительным шагом, сжатая, напряженная. «Ах, Аля, мне не до Май! – ответила она на мой «доклад». – Поезд – в половине шестого. Здравствуйте, Маруся! Скорее обедать!»

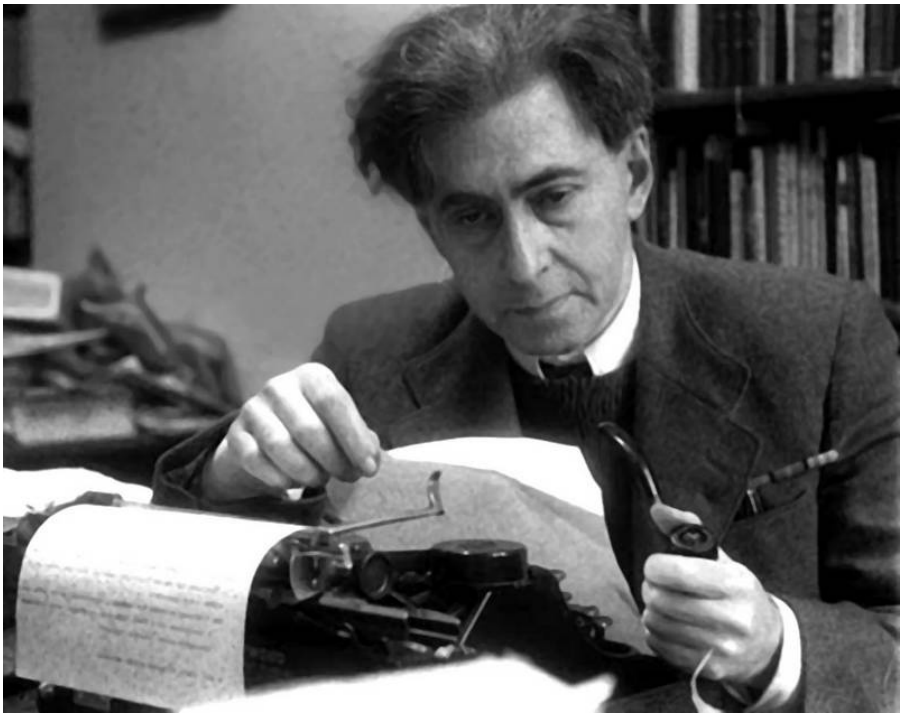
Мы похлебали супа, охлажденного утренней кашей. Маруся

говорила трогательные, проникновенные слова, разбивавшиеся о Маринину сосредоточенность, просила передать Сереженьке, что помнит его и любит, Марина отвечала отрывисто. Когда, доставая черпаком мясо, прихватила и мой «сюрприз», не рассмеялась, разглядев его, а гневно отбросила, сказав: «Какая глупость!» Шутка моя рассмешила одну лишь Марусю, дочка же ее, сочувствуя вареной кукле, сперва нахмурилась, а потом, отодвинув тарелку, заревела во весь голос, обстоятельно и надолго.

Марина отправила меня к Скрябиным за жившим там Чабровым, велела привести его немедленно, и я помчалась наизусть знакомыми переулками – Борисоглебским и Николо-Песковским, через Собачью площадку, мимо фонтана с тихо журчавшими жгутиками струй, лившихся из плоских львиных морд, мимо сонных особнячков и круглых, еще почти не опершихся деревьев, и все это, хоть и видимое моими глазами, было уже не мое.

У Скрябиных наскоро расцеловалась с Марой, еще вчера подругой, а сегодня – тоже по-странному не моей; но Чабров, ждавший Мариниого зова, был наготове, мы с ним тотчас отправились к нам. Гринева с Ириной уже ушли. Марина, укладывавшая «хозяйство» в корзину, просияла навстречу Чаброву, его достоверной готовности помочь.

(О нем Марина рассказывала в – недавнем тогда – мартовском письме Эренбургу: «Чабров – мой приятель: умный, острый, впивающийся в комический бок вещей… прекрасно понимающий стихи, очень причудливый, любящий всегда самое неожиданное и всегда до страсти! Друг покойного Скрябина, Захожу к нему… он как раз топит печку, пьем кофе, взаимоиздеваемся над нашими отъездами (– Ну, как Ваш? – А Ваш? – как?), никогда не говорим всерьез… Но он – дворянин, умеющий при необходимости жить изнеженной жизнью, а я? кто я? – даже не богема.



Илья Эренбург.

Дружба Марины с Эренбургом была непродолжительной, как большинство ее дружб – личных, не эпистолярных, – но куда более обоюдной, чем многие иные.

У него памятное лицо: глаза как дыры, голодные и горячие, но не тем (мужским) – бесовским? жаром; отливающий лоб и оскал островитянина…»)

Я, налив нашему последнему гостю последний суп, почему-то взялась перемывать оставляемую посуду. Наскоро поев, Чабров отправился за извозчиком. Скоро вернулся, сказал: «Все». Мы заторопились, одеваясь, проверяя в который раз – не забыть бы чего-то самого важного! – и, пытаясь сосредоточиться перед дорогой, по обряду присели, кто на что, погрузившись в секундное неподвижное молчание. «Ну – с богом!» – сказала Марина, и, схватившись за вещи, мы потащили их вниз.

Во дворе ждал извозчик – лошадь была в яблоках и поэтому выглядела нарядной, что меня обрадовало. Разместили в ногах багаж, уселись сами. Чабров должен был отправиться вслед на другом извозчике – пролетка вмещала только двух седоков.

«Ну, трогай!»

Когда проезжали белую церковку Бориса и Глеба, Марина сказала: «Перекрестись, Аля!» – и перекрестилась сама. Так и крестилась всю дорогу на каждую церковь, прощаясь с Москвой.

На Кудринской площади заметили время: четыре часа.

«Аля! Не опоздаем?» – «Нет, Марина!»

Молчим, смотрим по сторонам, на такие привычные, а нынче неузнаваемые, утекающие, как во сне, улицы, улочки, переулки, бледно и ровно освещенные однообразной пасмурностью дня, на редких прохожих, на встречные повозки, на все, что – вот оно, рукой подать! и уже позади.

Третья Мещанская. «Аля, опаздываем!» – «Что Вы, Марина!»

Наконец Виндавский (теперь Рижский) вокзал, продолговатое, со множеством торжественных окон здание, кажущееся мне похожим на какой-нибудь подмосковный дворец, если убрать всех пассажиров. Носильщик подхватывает наш скромный багаж; подходим к коменданту, который, проверив Маринины документы, выдает пропуск.

Наша платформа – немноголюдна и как-то немногословна; ни шума, ни давки, хотя поезд уже подан.

Возле вагона, среди кучки провожающих – не нас! – знакомое лицо милой молодой барышни, секретарши Наркоминдела, помогавшей Марине во всех предотъездных формальностях и премудростях. Она улыбается нам, протискивается с нами, вслед за носильщиком, в купе, очень тесное и очень полированное, где уже сидят две женщины, возле одной из них, скромно одетой, гладко причесанной, – костыли; вижу, что у нее ампутирована нога… Выходим на перрон. «А кто эта дама с костылями?» – спрашиваю я у секретарши. «Дама? Дама эта работает в ЧК. Ногу она потеряла на гражданской войне, а теперь отправляется на лечение за границу, там ей и ногу искусственную сделают, совсем как настоящую. Мужчине без ноги трудно, а женщине и совсем невозможно…»

Тут появляется сияющий Чабров, в руках у него продолговатый, красиво завернутый пакет, который он протягивает мне: «Это вам на дорогу, развернешь, когда поезд тронется!»

Взрослые разговаривают, я лазаю в вагон и из вагона, раздираемая тревогой – не уехать бы без мамы! или – не остаться бы, зазевавшись, на платформе тоже без мамы…

Первый звонок. Впрочем, это только так называется – звонок! – а на самом деле кто-то, мне невидимый, ударил в роковой колокол, и звук этот, отрывающий уезжающих от остающихся, на мгновение цепенящий, как огромный ледяной глоток, заставляет всех очнуться от длящести, длимости расставания, провозглашая его разлукой.

Последние поцелуи, объятия, напутствия, быстро утихомиривающаяся последняя суета у вагонных ступенек, и вот

уже на перроне – только провожающие, а мы топчемся в узком коридорчике, в несколько рук дергаем оконные ремни, чтобы еще раз, выглянув наружу, что-то сказать, что-то услышать, что-то успеть…

Чабров, привстав на цыпочки, протягивает записку: «Только что узнал: в вашем вагоне едет Айседора Дункан!»

Третий звонок. Поезд трогается.

Разворачиваю чабровский пакет – там коробка конфет с изображенном на ней брюнеткой в нэповском стиле. Со словами «как трогательно» Марина у меня эту коробку выхватывает, прежде чем успеваю сунуть туда нос. «Отвезем папе!»

Так мы и уехали из Москвы: быстро, неприметно, словно вдруг сойдя на нет.

Берлин

Путь от Москвы до Берлина продлился более четырех суток, включая день, проведенный в Риге в ожидании берлинского поезда. В вагоне мы скоро узнали, что Айседора Дункан, которую посулил нам Чабров, никакая не Айседора, а всего лишь ее компаньонка, едущая ей вслед и сопровождающая багаж. Что до багажа прославленной танцовщицы, то он состоял из восьми увесистых сундуков, содержимое которых неизменно озадачивало таможенников всех национальностей: то была утварь уходящей России, не расписная, нарядная, и не древняя, музейная, а просто всяческий лом и рухлядь: треснутые долбленые корыта, рассохшиеся бадейки, комолые ухваты, дырявые лукошки, битые крынки и чугунки и прочее тому подобное, не подобное уже ничему; может быть – память о крестьянских истоках Есенина…

В Риге один из наших попутчиков, невысокий, очень скромный молодой человек, оказавшийся секретарем Чичерина, проводил нас в советское представительство, где нас, как и других «транзитных», охотно приютили от поезда до поезда, и поводил по первому нерусскому городу, мною увиденному. Удивительными показались резкие, сухопарые силуэты старинных домов, крытых задымленной черепицей; напряженная, нечеловеческая в своей одухотворенности готика соборов; грубоватое изящество и простодушный разнобой вывесок: всех этих ключей, кренделей, сапог со шпорами, перчаток, пивных кружек и головных уборов из кованого железа, прилаженных по вертикали из-за узости и тесноты склеенных друг с другом лавчонок и магазинчиков; не менее, но иначе, удивляла массивность, обстоятельность современных зданий деловых кварталов, в чьей прозаичности и сплошном здравом смысле совершенно терялась, растворялась манерность, даже шаловливость стиля «модерн», в котором они были возведены.

Сады, скверы, парки зеленели вовсю – хорошо организованной, живописной, холеной зеленью…

Марине плохо смотрелось на все это; сдерживаемая озабоченность, состояние внутреннего озноба не покидали ее; сквозь строй домов, витрин, людей она проходила как сквозь сон, крепко держа меня за руку; ничто видимое не привлекало ее внимания; а ведь она любила – с издавна, с детских еще лет – многоярусный, готический ландшафт западных городов и, не менее, чем новым видам, радовалась узнаванию уже бывшего.

Пообедали мы в каком-то сиротливом полуподвальчике, чем-то едва мясным и сильно гороховым; Марина выпила чашку

кофе…

Вечером, когда уже смеркалось, отправились на вокзал, взяли в камере хранения вещи, сели в поезд на Берлин – вагон был теперь не спальный, места – сидячие; именно тут Марина сомкнула глаза впервые за все путешествие, а то, как ни проснешься ночью, все видишь ее бессонный профиль на фоне черного окна, за которым, не отставая, катилась большая белая луна.

Утром за окнами вагона пошли перелистываться пейзажи Германии, такие же блестящие и причудливо-аккуратные, как на иллюстрациях к детским книжкам моей бабушки Марии Александровны, целый шкаф которых остался в моей комнате в Москве. Так же по-странному, по-старинному были причудливы и опрятны наряды крестьян (которых хотелось назвать «поселянами»), работавших на своих хорошо разграфленных полях, огородах, садах, – и сами поля, фермы, деревни, городки, проплывавшие мимо нас и вновь возникавшие за поворотом.

Аккуратность! аккуратность – вот чем потрясали воображение города Германии после такой привычной глазам и сердцу великой неприбранности тогдашней Москвы, со всеми ее территориальными привольями и урбанистическими своевольями, со всей невыразимой гармоничностью ее архитектурных несообразностей.

(Пятнадцать лет спустя, в 1937 году, возвращаясь на родину, я вновь переглядела – в обратном направлении! – те же, но совсем иные, мимолетные ландшафты и города Германии. Уже обесснеженные, но еще не раскрашенные весной, лишенные рельефа под низким, смутным небом, они не напоминали больше картинок из бабушкиных сказок. Все одушевленное, разноцветное, жилое и живое обернулось железом и жестью; исчезли игрушечные фигурки «поселян», замененные «солдатиками», отнюдь не оловянными, в траурной форме похоронных дел мастеров. На ратушах и отдельных зданиях, на маленьких станциях и больших вокзалах висели некими карантинными знаками, предупреждающими об эпидемии, флаги с черной свастикой на белом фоне. Что до «аккуратности», то она была доведена до того предела, за которым начинается безумие.)

Наконец поезд дотянулся до Берлина, постоял на трех его вокзалах – Александербурге, Зоо, Фридрихерсбурге, – на четвертом, Шарлоттенбурге, мы сошли; одетый в зеленое носильщик легко дотащил наши пожитки до извозчика.

День – 15 мая 1922 года – был солнечный; большой, благопристойный, строго-нарядный город разворачивал перед нами широкие улицы и массивные дома в массивном убранстве

плюща, увивавшего стены и балконы.

Прагерплац с пансионом, в котором жили, вернее – ночевали Эренбурги, и с кафе «Прагердиле», в котором они проводили дни, оказалась маленькой уютной площадью, даже площадкой, вроде нашей московской Собачьей, только на чужеземный лад.

Случилось так, что, пока мы неуверенно разглядывали двери пансиона, они распахнулись и на пороге показался – в круглой шляпе с жесткой тульей – сам Эренбург с неизменной трубкой в зубах; едва не столкнувшись, они с Мариной огорошенно посмотрели друг на друга, рассмеялись, обнялись. «Ну, здравствуйте, Илья Григорьевич! Вот и мы…» – «Как же вы доехали? Все в порядке? Впрочем, расспросы будут потом, а теперь надо взять вещи!»

Поднявшись на лифте, мы вскоре оказались в большой, темноватой, заваленной книгами эренбурговской комнате, которую он нам тут же предоставил в полное распоряжение и которую мы занимали вплоть до его летнего отъезда в приморское местечко Бинг-ам-Рюген.

…Дружба Марины с Эренбургом была непродолжительной, как большинство ее дружб – личных, не эпистолярных, – но куда более обоюдной, чем многие иные. Тяготея к силе, Марина, тем не менее, нередко влеклась к слабости, как к некоему временному руслу собственных паводков и переизбытков.

Перенасыщая своими щедротами хилые души, она открывала в них собственные же клады, дивилась, радовалась им и восславляла их – но донышко было близко, всегда слишком близко; отношения пересыхали – оставались стихи, уже забывшие об источнике, их породившем…

Справедливости ради надо сказать, что некоторые из этих душ были хилыми лишь по сравнению с Марининой мощью; что, в своем (общепринятом) измерении, они оказывались порою не столь уж мелководными – но что до того было самой Марине с ее «безмерностью в мире мер»! Дружба Марины с Эренбургом была дружбой двух сил – причем взаимонепроницаемых, или почти. Марине был чужд Эренбургов рационализм, наличествовавший даже в фантастике, публицистическая широкоохватность его творчества, уже определившаяся в 20-е годы, как ему – космическая камерность ее лирики, «простонародность» (просто – народность!) ее «Царь-девицы», и вообще – рассийское, былинное, богатырское начало в ее поэзии, вплоть до самой рассийскости ее языка, к которой он оставался уважительно-глух всю свою жизнь.

В дальнейшем взаимная неподвлиянность (не говоря уж об обстоятельствах) разделила их, а в начале – только помогла

дружбе стать именно дружбой. Отношение того, давнего, Эренбурга к той, давней, Цветаевой было поистине товарищеским, действенным, ничего не требующим взамен, исполненным настоящей заботливости и удивительной мягкости. Я не оговорилась – ибо была такая пора в творческом и человеческом становлении Эренбурга, когда нарастающей непримиримости его приводилось оборачиваться мягкостью, ироничности – нежностью, несмотря на то, что перо его и тогда уже превращалось в ланцет, голос становился голосом трибуна, а мысль, отталкиваясь от частного, старалась охватить общечеловеческое…

В его воспоминаниях «Люди, годы, жизнь», в той части их, которая касается Марины, от былой Эренбурговой нежности не осталось следа: вероятно, память о подобной «окраске» отношений скорее всего рассеивается временем.

Первого появления Эренбурга у нас в Борисоглебском переулке (году в 1917–1918, судя по написанному им) – я не помню; знаю лишь, что в пятилетнем возрасте я, естественно, не была еще знакома с любовной лирикой Блока и что в большой, нескладной, но уютной квартире нашей еще не наблюдалось того кораблекрушительного беспорядка, которым она поражала всех, в нее входивших, в начале 20-х годов.

Именно тогда Илья Григорьевич приехал из Крыма и пришел к Марине с известиями о Максе Волошине и его матери – моей крестной, и в эренбурговском стремительном доброжелательстве к нам обеим просвечивала еще и волошинская память, волошинская тревога о всей нашей цветаевско-эфроновской семье, которую он так (издавна!) любил и которая отвечала ему такой взаимностью.

Ариадна с отцом – Сергеем Эфроном. 1925 г.

В 1921 году, уезжая в заграничную командировку, Эренбург обещал Марине разыскать ее мужа, к тому времени оказавшегося в эмиграции, передать ему наши письма, фотографии, ее последние стихи.

В детских моих тетрадях остались записи февраля – марта 1921 года, озаглавленные «Золотое сердце Эренбурга»; вот несколько цитат из них: «Я больна, сижу в кровати, Марина готовит. Короткий и четкий стук в дверь. Кто-то входит. «Здравствуйте, Марина Ивановна!» Марина здоровается и подает ему стул. – «Да… Вы тут живете? В другой комнате было лучше!» Я понимаю, что это Эренбург. «Ну, тут у вас странно! Столько ненужных вещей!»

Марина сидит за столом, смеется. «Илья Григорьевич, простите, я сейчас должна переписывать. Я как раз переписываю стихи для Вас»…

Эренбург предлагает почитать свой «портрет Марины».

Она очень кротко слушала: «Маленький, узкий переулок, два больших дерева напротив подъезда, маленькая лесенка с

шаткими перилами. Множество ненужных вещей, как у тетушки или антиквара. Она похожа на школьницу» и т. п. Потом он читал портрет Брюсова: «Низкая широкая комната с множеством картин, изображающих Сухаревку. Сам хозяин – неприветливый «русский американец»… все время разбирающий граммофон и разные машины»… Потом я показала Эренбургу мои рисунки. Он хвалил и странно спрашивал объяснения… Скоро он ушел»…

«Мы пошли к Эренбургам в слякоть и грязь, и лужи были настоящие. Хитрые перекрестные переулки вели к «Княжьему двору»…[10] Поднимаемся наверх, по гранитным ступеням, в комнату № 49. Стучим. – «Войдите». Боже мой, Илья Григорьевич и столько людей! Целых восемь человек! Эренбург в очень веселом настроении и дает мне целую груду им нарисованных картинок. Я стою на коленях перед стулом и любуюсь. «Рай и Ад». На границе Рая и Ада большой золотой престол. На нем сидит Бог. Перед ним ходят мужчины, женщины, дети и собаки. А в Аду в тазах с кипящей смолой сидят грешники и плачут. Черти с красными усами и зелеными глазами бегают с головешками. Потом есть картинка с другим Богом, который стоит с руками по бокам… Над его головой дама с громадными ногами и с большой розой в шивороте… Третья картина названа «Извозчик и его лошадь». Вокруг них имажинистские миры: летящие дома, стоящие птицы, все наоборот. А посередине стоит старик-извозчик со своей лошадью… Потом еще большая картинка: Дева Мария в очаровательном желтом платье с черными звездами… Тут же стоит журавль, поднявши свой клюв на луну, а в это время змея обвивается вокруг его ног…

Посмотрев, я начала наблюдать людей. Вот какая-то – со злым личиком, в белой кофточке, смотрит через плечо Эренбургу, водит скрипящим ногтем по картине и говорит, что сюда надо вставить кусочек красной с синим краски и будет замечательно. Вот на диване сидит женщина в буклях… и усердно пьет чай. Вот жена Эренбурга – она в «модном дамском платье». У нее короткие черные волосы и тонкие сквозные пальцы с блестящими стеклянными ногтями… Эренбург подсел ко мне и спрашивает: «Ну как, Аля, понравились тебе мои картинки?» – «О да, Илья Григорьевич!» Он, подумав немного, достал богоматерь в золотом платье… схватив карандаш, начал писать: «Але – Божью Матерь золотое сердце. Илья Эренбург…Радуйся, Мария, упованье наше, радуйся, Мария, сердце потерявшая!» Я его поблагодарила и подала картинку Марине, она полюбовалась и положила ее в мою книжку «Детские годы Багрова-внука», Аксакова… Кончив разговаривать с другими, Марина сказала, что надо уходить, но Эренбург остановил нас. Постояв с минуточку, он возвратился с

маленькой записной книжечкой и прочел несколько стихов… Я, взобравшись к нему на колени, сказала: «Милый Илья Григорьевич, если вы увидите папу, передайте ему, что мы только и живем им, и передайте ему, пожалуйста, от нас приветствия и все хвалебные слова, которые только знаете…» Он посмотрел на меня повеселевшими глазами и сказал: «О, я сделаю это обязательно!..» И с грустной лучезарностью простился с нами».

…Приехав за границу, Эренбург разыскал Сережу. 1 июля 1921 года, в десять часов вечера Марина получила первое от него письмо.

«Мой милый друг, Мариночка, сегодня получил письмо от Ильи Григорьевича, что вы живы и здоровы. Прочитав письмо, я пробродил весь день по городу, обезумев от радости…

Что мне писать Вам? С чего начать? Нужно сказать много, а я разучился не только писать, но и говорить. Я живу верой в нашу встречу. Без Вас для меня не будет жизни, живите! Я ничего от Вас не буду требовать – мне ничего не нужно, кроме того, чтобы Вы были живы…

Наша встреча с Вами была величайшим чудом, и еще большим чудом будет наша встреча грядущая. Когда я о ней думаю – сердце замирает – страшно – ведь большей радости и быть не может, чем та, что нас ждет. Но я суеверен – не буду об этом…

Все годы нашей разлуки – каждый день, каждый час – Вы были со мной, во мне. Но и это Вы, конечно, должны знать…

О себе писать трудно. Все годы, что не с Вами, прожиты, как во сне. Жизнь моя делится на «до» и «после», и «после» – страшный сон, рад бы проснуться, да нельзя… Для Вас я веду дневник (большую и самую дорогую часть его у меня украли с вещами) – Вы будете все знать…

Меня ждет Ваше письмо – Илья Григорьевич не хотел мне его пересылать, не получив моего точного адреса. Буду ждать его с трепетом. Последнее письмо от Вас имел два года тому назад. После этого – ничего…

Сейчас комната, в которой живу, полна народу. Шумят, разговаривают… Как только получу ответ от Ильи Григорьевича с Вашим письмом – напишу подробно, а это хочу просто отправить сейчас же, чтобы Вы поскорее получили. Илья Григорьевич пишет, что Вы живете все там же. Мне приятно, что могу себе представить окружающую Вас обстановку.

…Что сказать о своей жизни? Живу изо дня в день. Каждый день отвоевывается, и каждый приближает нашу встречу. Последнее дает мне бодрость и силу. А так все вокруг очень плохо и безнадежно. Но об этом всем расскажу при свидании.

Очень мешают люди, меня окружающие. Близких нет совсем…

Надеюсь, что Илья Григорьевич вышлет мне Ваши новые стихи. Он пишет, что Вы много работаете…

Простите, радость моя, за смятенность письма… Берегите себя, заклинаю Вас. Вы и Аля – последнее и самое дорогое, что у меня есть.

Храни Вас Бог.

Ваш С.».

«Родная моя девочка! Я получил письмо от И. Г., он пишет, что видел тебя, и передал мне те слова, что ты просила сказать мне от твоего имени. Спасибо, радость моя, – вся любовь и все мысли мои с тобой и с мамой. Я верю – мы скоро увидимся и снова заживем вместе, с тем, чтобы больше никогда не расставаться…

Благословляю и целую тебя крепко.

Твой папа».

«С сегодняшнего дня – жизнь. Впервые живу» – записала Марина в тетради, и тут же: «Письмо к С. – Мой Сереженька! Если от счастья не умирают, то – во всяком случае – каменеют. Только что получила Ваше письмо. Закаменела. Последние вести о Вас: Ваше письмо к Максу. Потом пустота. Не знаю, с чего начать. – Знаю, с чего начать: то, чем и кончу: моя любовь к Вам…» (оборвано).

Чуть погодя – письмо к Ахматовой: «Моя Радость! Жизнь сложна. Рвусь, потому что знаю, что жив – 1 июля письмо, первое после двух лет молчания. Рвусь – и весь день обслуживаю чужих. Не могу жить без трудностей – не оправдана. Чувство круговой поруки: я – здесь – другим, кто-то – там – ему… Чужие жизни, которые нужно устраивать, ибо другие – еще беспомощнее (я, по крайней мере, веселюсь!) – целый день чужая жизнь, где я, может быть, и не так уж необходима…

Пишу урывками – как награда. Стихи – роскошь. Вечное чувство, что не вправе. И – вопреки всему – благодаря всему – веселье, только не совсем такое простое, как кажется…»

Кто же были эти «чужие»? Чаще всего – действительно чужие, мимохожие люди, случайно прибивавшиеся к Мариниому порогу, ютившиеся у нас, как на полустанке, отогревавшиеся у нашей печурки, подкреплявшиеся (но не насыщавшиеся!) нашим хлебом и нашей кашей; некоторых, беспомощных до святости, «поставляла» Марине ее сестра Ася, жившая тогда в Крыму; некоторые прибивались сами; некоторых сама Марина,

обладавшая безошибочным чутьем на (даже сокровенные) нужду физическую и беспризорность душевную, подбирала и подпирала плечом… Отдышавшись, чужие уходили, приставали к более надежным берегам; другие же, редчайшие одиночки, уходя – все равно оставались своими, пусть только в памяти.

Ну а стихи – стихи писались, несмотря ни на что и благодаря всему, будучи не «роскошью», и даже не насущностью, а – неизбежностью. Писались сквозь все препятствия и отвлечения – их Марина умела отстранять, раздвигать, как раздвигала посторонние предметы, нараставшие на рабочем ее столе, чтобы освободить место для локтей и тетради.

Со дня получения письма от Сережи, письма, определившего ее решение ехать к мужу, – и до дня отъезда Мариной было создано свыше ста стихотворений, поэма «Переулочки», план и первая глава поэмы «Мулодец», главы первого варианта поэмы «Егорушка», целое действие – к сожалению, утраченное – пьесы, условно названной «Давид», оставшейся незавершенной, множество дневниковых записей, не считая работы над увозимым с собой архивом, над рукописями, сдаваемыми в печать в Москве, и десятков и десятков писем, являвших собой в большинстве своем подлинные образцы цветаевской прозы.

По роковому стечению обстоятельств, Марина покидала Россию именно тогда, когда Россия, вместе с революцией ворвавшаяся в ее творчество, внедрилась в нее всей своей много– и разноголосицей, всей народностью своих говоров, речений и просторечий, величальных песен, надгробных плачей, заговоров от сглазу и прочих ворожб.

Воспитанная в традициях конца века, выросшая под надзором бонн, учившаяся в швейцарских пансионах, воспринявшая языки французский и немецкий наравне с родным, Марина, естественно, в совершенстве владела русским литературным языком, языком интеллигенции, на нем, в юности, и писала, зачастую оттачивая его на грациозный ростановский лад или придавая ему гетевскую торжественность; но все это были языковые «вершки», а не «корешки», корешки же, сама народная речь таилась, до поры до времени, опять-таки в литературе, услышанная, отраженная и донесенная другими – классиками и современниками.

«Горожанка» и «дачница» в детские свои и юношеские годы, Марина не соприкасалась с жизнью народа, с речью его, ни в деревне, которой она не знала, ни на фабричных окраинах, куда не ступала ее нога. Немногословно было «простонародье» – прислуги, сторожа, дворники, прачки, домовые портнихи – немногословно и почтительно; казалось, немногословна и почтительна была сама дореволюционная Москва…

Все изменилось в одно мгновение, в то самое, когда грянула «музыка революции», когда ранее не слышимое Мариной и невнятное ей обрело голос, силу которого она восприняла и вобрала в себя с тех пор и навсегда. (Пройдет время, и сама она, все та же и далеко уже не та Цветаева, в известном своем письме к Маяковскому провозгласит не только силу, но и правду России революционной.)

Именно тогда, когда улицы и площади Москвы заполнились невиданными, немыслимыми доселе хозяевами и зазвучали неслыханными доселе речами, Маринины тетради насытились записями разговоров, рассказов, реплик, подхваченных ею на лету, везде и всюду: в детских распределителях и театрах, на вокзалах, в трамваях и на толкучках, в учреждениях и на церковных папертях, на бульварах и в очередях. Именно тогда, захваченная и растревоженная новыми для себя голосами, Марина прильнула к фольклорным источникам своих поэм, как к истокам этих голосов, и в Афанасьевских сборниках открыла для себя уже теперь не детские сказки, а принявшую их обличие зашифрованную летопись былых судеб и былых событий, вечных страстей и подвигов человеческих, летопись трагедий и надежд на избавительные чудеса…

Именно тогда постепенно ушло, вытеснилось из цветаевского творчества грациозное «шопеновское» начало, в последний раз расцветшее циклом пьес, ею самой впоследствии названным «Романтика»; расставаясь с Музой, как с юностью, Марина вручила свою участь поэта неподкупному своему, беспощадному, одинокому Гению.

Не Муза, не Муза, – не бренные узы
Родства, – не твои путы,
О Дружба! – Не женской рукой, – лютой!
Затянут на мне —
Узел…

Прага. Староместская площадь. Начало XX века.

Старая часть Праги – красота несказанная, готика, барокко, фантастика!

Город– изумительный. Правда, жить в нем будет не по средствам.

В пансионе на Прагерплац жили – семьями и в одиночку – литераторы, издатели и окололитературные деятели всех мастей, недавно прибывшие из России, а кафе «Прагердиле» – перекресток, на котором встречались все, – являлось неким скромным провозвестником всех будущих Монпарнасов

эмиграции; за его столиками, как ни в чем не бывало, «решались судьбы» мирового и отечественного искусства, а также самого отечества и всего мира; заключались издательские договора; завязывались и развязывались деловые и личные отношения; вспыхивали ссоры и наступали перемирия – за чашкой послевоенного эрзац-кофе или за кружкой пива; Эренбург пил пиво, и я с ним наравне, вплоть до приезда моего отца, который, ужаснувшись, твердой рукой перевел меня на лимонад.

Марина скоро перезнакомилась со всеми, а подружилась, как всегда, с немногими и ненадолго – с художницей Любой Козинцевой, женой Эренбурга, с другой художницей, ученицей Билибина, Людмилой Чириковой (дочерью известного в свое время писателя), с молодым издателем Геликоном[11] (ибо в «Прагердиле» издателей величали именами издательств, а не наоборот!).

О Геликоне и его «конторе» я записала тогда: «Контора его – для него – весь мир. Стол, который стоит у окна с толстым стеклом и на котором разложены все издания Геликона – чужих изданий на своем столе он не терпит; три шкафа с книгами; над ними – китайский божок. За стеной, в маленькой комнатке, стучат на машинках сквозная барышня-секретарь и иногда молодой человек разбойного вида – сам себя печатающий Эренбург.

Посещают Геликона самые разнообразные личности: какой-то старый господин с часами на обрывке собачьей цепи (золотая цепочка продана!), худые унылые вдовы писателей, приходящие в надежде на то, что Геликон будет выдавать им пособие за мужей; судорожно пляшущие на стуле литераторы, надеющиеся облагодетельствовать Геликона переводом своей же книги на испанский язык… Все, что никому понадобиться не может, приходит (на двух ногах) и притаскивается (в портфелях) к Геликону, он старается никого не обидеть, но все ругаются, что он мало платит.

Геликон всегда разрываем на две части – бытом и душой. Быт – это та гирька, которая держит его на земле и без которой, ему кажется, он бы сразу оторвался ввысь, как Андрей Белый. На самом деле он может и не разрываться – души у него мало, так как ему нужен покой, отдых, сон, уют, а этого как раз душа и не дает.

Когда Марина заходит в его контору, она – как та Душа, которая тревожит и отнимает покой и поднимает человека до себя, не опускаясь к нему. В Марининой дружбе нет баюканья и вталкиванья в люльку. Она выталкивает из люльки даже ребенка, с которым говорит, причем божественно уверена, что баюкает его

– а от таких баюканий может и не поздоровиться. Марина с Геликоном говорит, как Титан, и она ему непонятна, как жителю Востока – Северный полюс, и так же заманчива. От ее слов он чувствует, что посреди его бытовых и тяжелых дел есть просвет и что-то не повседневное. Я видала, что он к Марине тянется, как к солнцу, всем своим помятым стебельком. А между тем солнце далеко, потому что все Маринино существо – это сдержанность и сжатые зубы, а сам он гибкий и мягкий, как росток горошка».

Должна сказать, что, прочтя в моем дневничке эту – и еще некоторые – характеристики «взрослых», Марина призадумалась, найдя их, для девочки неполных десяти лет, чересчур проницательными и к тому же фамильярными, без надлежащего соблюдения дистанции между младшим возрастом и старшим; призадумавшись же – немедленно водворила меня в детство, поручив заботам весьма необаятельной гувернантки, пасшей четырехлетнего сына Геликона, Женю. И стали мы с Женей пастись целыми днями в берлинских скверах и парках, а тетради мои покорно запестрели зарисовками Геликона-младшего, мальчика как мальчика.

Только добрый Эренбург иногда вновь перетягивал меня в мир взрослых, вернее – в свой собственный, читал отрывки из «Тринадцати трубок» и даже «подарил» ту из них, в которой бегемот съедает миссионера. (Меня, растолстевшую и подросшую, Эренбург прозвал «Бегемотом».) Порой мы бродили по улицам, любуясь на собак, особенно на тех, запряженных в тележки, которые развозили молоко. «Собачья жизнь у человека, – объяснял мне Эренбург, – это когда он не может завести себе собаку…» Послевоенный Берлин, резко благоухавший апельсинами, шоколадом, хорошим табаком, выглядел сытым, комфортабельным, самодовольным, но – страдал от инфляции и жил на режиме удушающей экономии. Цены вздувались день ото дня. За табльдотом нашего пансиона нас кормили все уменьшавшимися порциями редиски, овсянки, лапши, впрочем, безупречно сервированными. Что до геликоновских гонораров, то они и впрямь были миниатюрны, как, впрочем, и тиражи, и форматы выпускаемых им изящных книжечек, и собрать сумму, необходимую на приезд Сережи (жившего в Праге на тощую студенческую стипендию) и на наш последующий отъезд в Чехословакию, было мудрено.

Когда Любовь Михайловна повела нас с Мариной в «КДВ», крупнейший тогда столичный универмаг, она обратила наше внимание на гигантскую пепельницу, стоявшую на особом столике в холле. На ней были аккуратно разложены недокуренные сигары, снабженные фирменными бланками с

фамилиями… курильщиков. Оказывается, каждый покупатель, входивший в магазин с сигарой в зубах, оставлял ее в пепельнице, чтобы на обратном пути закурить ее же вновь… Маленькие, размером с визитную карточку, бланки и толстый карандаш на цепочке лежали тут же, а прикурить можно было от газового рожка, сэкономив собственную спичку…

Марина купила первые после неподъемной разлуки подарки Сереже: теплое белье, носки, шарф и, «для души», портсигар: «Теперь он, наверное, курит…» Мне, покачав головой на цену, – полосатое платье с матросским воротником; и, под категорическим нажимом Любови Михайловны, платье себе, совсем уж простенькое «бауэрнклайд»; крестьянский этот, ситцевый фасон с обтянутым лифом и сборчатой юбкой она любила и носила всю жизнь, каждое лето этой жизни.

И обувь себе купила грубую, надежную: горские полуботинки на толстой подошве, с прикрывающими шнуровку бахромчатыми кожаными языками…

А носили тогда лодочки на острых каблучках, ажурные чулки, кисею, батист, вуаль. Но с октября 1917 года Марина больше никогда не оглядывалась на моду: дорого, неразумно… и всегда выходит из моды!

…Изредка в Берлин наезжал, из ближнего Цоссена, Андрей Белый, сраженный разрывом с женой, Асей Тургеневой, потерянный, странный, глубоко несчастный, с безумными, запредельными глазами. Удар его беды Марина тотчас же приняла на себя, в себя, естественно и привычно впряглась в эту упряжку. Несмотря на то, что окружающие относились к нему сердечно, бережно, хоть и не без доли почтительного страха, одна лишь Марина оказалась в ту пору пристанищем его смятенной души… «Моя милая, милая, милая, милая Марина Ивановна, – писал он ей в июньском письме того, 1922, года, – …в эти последние, особенно тяжелые, страдные дни Вы опять прозвучали мне: ласковой, ласковой, удивительной нотой: доверия… Бывают ведь чудеса! И чудо, что иные люди на других веют благодатно-радостно: и – ни от чего… Знаете, что за день был вчера для меня? Я окончательно поставил крест над Асей… И мне показалось, что вырвал с Асей свое сердце; и с сердцем всего себя; и от головы до груди была пустота… Я заходил в скверы, тупо сидел на лавочке и заходил в кафе и в пивные; и тупо сидел там без представления пространства и времени. Так до вечера. И когда я появился вечером – опять повеяло вдруг, неожиданно, от Вас: щебетом ласточек, и милой, милой, милой вестью, что какая-то родина – есть, и что ничто не погибло…»

Двенадцать лет спустя, в 1934 году, узнав из газет о кончине

Андрея Белого, вернувшегося в Россию в 1923 году, Марина написала о нем воспоминания-реквием, которые назвала «Пленный дух». Там все сказано об их встречах – встречах двух пленных духов.

Еще видение – мгновенное и последнее в жизни – Есенина, сановно грядущего мимо столиков «Прагердиле», ради теплого майского дня уже выставленных на тротуар и облепленных русскими собеседниками.

Есенин разодет, как манекен с витрины, все на нем с иголочки, вызывающе-новое, негнущееся, необмятое, в руке – тросточка, на голове – котелок, нелепое «увенчание» дельцов и буржуа; глаза, самой небесной на свете голубизны, глядят высокомерно. Навстречу ему – хор веселых приветственных восклицаний, он же, не останавливаясь, бросает на ходу (торжественном и медленном) резкую и дерзкую фразу, приводящую всех сперва в замешательство, потом в негодование.

Но он уже ушел, завернул за угол, исчез.

Точная дата приезда моего отца в Берлин в памяти не сохранилась. Что-то произошло тогда: то ли запоздала телеграмма о его прибытии, то ли Марина куда-то отлучалась в час ее получения, только помню, что весть, со дня на день ожидавшаяся, застигла Марину врасплох, и мы с ней не просто поехали, а кинулись сломя голову встречать Сережу, торопясь, теряясь, путая направления. Кто-то предложил поехать с нами и тоже было засуетился, но Марина от провожатых отказалась: Сережу она должна была встретить сама, без посторонних.

Когда мы, с дрожащими от волнения и спешки поджилками, ворвались на вокзал, он был безлюден и бесполезно-гулок, как собор по окончании мессы. Сережин поезд ушел – и ушел давно; и духу не осталось от пассажиров и встречающих. Остывая от бега и цепенея от ужаса, мы тщетно и тщательно обследовали перроны и залы ожидания, камеру хранения и ресторан – Марина в новом синем платье, я в новой матроске – такие нарядные! и такие несчастные, потерянные и растерянные, как только во сне бывает… Ни вежливые служащие, ни висевшие на глянцевитых стенах четкие расписания поездов и не менее отчетливые стрелки на циферблатах вокзальных часов не могли ничего объяснить нам и ни в чем обнадежить.

Мы вышли на белую от солнца, пустынную площадь, и солнечный свет, отраженный всеми ее плоскостями, больно ударил по глазам. Мы почувствовали палящую городскую жару, слабость в коленках и громадную пустоту внутри – от этой невстречи. Марина стала слепо и рассеянно нашаривать в сумке папиросы и бренчать спичками. Лицо ее потускнело. И тут мы

услышали Сережин голос: «Марина! Мариночка!» Откуда-то с другого конца площади бежал, маша нам рукой, высокий, худой человек, и я, уже зная, что это – папа, еще не узнавала его, потому что была совсем маленькой, когда мы расстались, и помнила его другим, вернее, иным, и пока тот образ – моего младенческого восприятия – пытался совпасть с образом этого, движущегося к нам человека, Сережа уже добежал до нас, с искаженным от счастья лицом, и обнял Марину, медленно раскрывшую ему навстречу руки, словно оцепеневшие. Долго, долго, долго стояли они, намертво обнявшись, и только потом стали медленно вытирать друг другу ладонями щеки, мокрые от слез.

С отцом, недолго погостившим в Берлине, я виделась мало; он проводил все время с Мариной, со мной же был молчаливо ласков; задумчиво, далеко уходя мыслями, гладил меня по голове, то «по шерсти», то «против шерсти».

Эренбурги приняли Сережу по-родному – по-праздничному радуясь Марининой с ним встрече, как общей елке на рождество, увешивая эту елку блестками доброжелательства и радужными игрушками проектов. Все должно было утрястись, устроиться, и не «как-то», а – хорошо, даже – превосходно.

Главное: живы и нашли друг друга!

В вечер Сережиного приезда пили шампанское – оно помогло не то что обрести «общий язык» всем разномастным сотрапезникам, собравшимся за сдвинутыми столиками пансиона, а найти некую общую тональность – хотя бы на этот вечер. Сережа, которому осенью должно было исполниться 29 лет, все еще выглядел мальчиком, только что перенесшим тяжелую болезнь, – так был он худ и большеглаз и – так еще сиротлив, несмотря на Марину, сидевшую рядом. Она же казалась взрослой – раз и навсегда! – вплоть до нитей ранней седины, уже резко мерцавшей в ее волосах.

Эренбурги вскоре уехали в курортное местечко Бингам-Рюген, оба – писать: он – свои «Тринадцать трубок», она – свои этюды, мы же перебрались в маленькую гостиничку на Траутенау-штрассе, где вместо прежнего большого номера заняли два крохотных – зато с балконом. На «новоселье» Сережа подарил мне горшочек с розовыми бегониями, которые я по утрам щедро поливала, стараясь не орошать прохожих: с немцами шутки плохи!

Из данного кусочка жизни в «Траутенау-хауз» ярче всего запомнился пустяк – этот вот ежеутренний взгляд вниз и потом вокруг, на чистенькую и безликую солнечную улицу с ранними неторопливыми прохожими, и это вот ощущение приостановившейся мимолетности, транзитности окружающего и

той неподвластности ему, которая и позволяла рассматривать его отвлеченно и независимо, без боли любования или отрицания.

Ощущение это, по-видимому, укреплялось рождавшимися там, в двух комнатках за моей спиной, и постепенно определявшимися родительскими планами на ближайшее будущее, их разговорами, исподволь доносившимися до меня. Оставаться в Берлине? В Германии, недавно отвоевавшейся и переживающей экономический кризис, нет и не предвидится ни университетов, ни работы для русских, ни школ для их детей; да, жизнь тут более налажена и «устроена», чем в Чехии, – но для кого? Сколько времени продержатся тут ненадежные русские издательства и сами издатели? Кто будет покупать их книги и газеты? Как жить? И – на что – жить? Значит – устраиваться в Чехии? Там – уже одна материальная достоверность: Сережина студенческая стипендия. Говорят, правительство Масарика будет давать, и, кажется, уже дает, пособия беженцам – деятелям науки, культуры, искусства. Доброе правительство? – Не совсем так: это – грошовые «отчисления» от вывезенной чешскими «легионерами», сражавшимися во время гражданской войны на стороне Антанты, части русского золотого запаса.

Борис Пастернак.

Отношения, завязавшиеся между двумя поэтами, не имели и не имеют себе подобных – они уникальны.

Итак, в Праге – Карлов университет (старейший в Европе!) – в который уже влились некоторые бывшие профессора, равно как и бывшие студенты дореволюционной России. В Чехии уже организована русская гимназия-интернат для эмигрантских

детей, среди которых – столько сирот! Правда, еще нет – и будут ли? – эмигрантские издательства, но уже существует один вместительный ежемесячный журнал с большим литературным отделом. Старая часть Праги – красота несказанная, готика, барокко, фантастика! Город – изумительный. Правда, жить в нем будет не по средствам. Не придется. Студенты-одиночки кое-как втиснуты в «Свободарну» – такое общежитие с каморками-ячейками, в каждой из которых – койка, самодельный столик, табуретка. Там – не пошагаешь ни вдоль, ни поперек с учебником в руках! Семейные расселились по пригородам, вернее, по прилегающим деревням.

Да, настоящие деревни; нет, не такие, как у нас в России, – крыши крыты черепицей; но быт – быт деревенский; вода – из колодца; керосиновые лампы; само собой разумеется – ни тротуаров, ни мостовых. Но, если поселиться не слишком далеко от станции, до Праги добираться легко и просто: пригородные поезда ходят часто. Чехи к русским – доброжелательны, и вообще – все иное, чем здесь, без спеси и без табелей о рангах, более, я бы сказал, простодушно: славяне ведь, и язык близок нашему; кроме того – удивительно музыкальны! Музыкальны, как итальянцы… Природа? – места холмистые, даже гористые; леса – и такие, как у нас, и хвойные; и прелестная речка Бероунка, приток Влтавы; ну и поля, и луга. Просторно, не стиснуто, не застроено, широко видно вокруг…

И Маринино удалое: «Горы? холмы? музыка? – едем в Чехию!»

После отъезда Сережи – ему надо было усердно готовиться к началу учебного года, а привычка к зубрежке была утрачена, а голова и сердце были заняты другим, и все нарастало ощущение – вернее, ощущение оборачивалось осознанием – неисчерпаемости ошибки, совершенной в семнадцатом году и оказавшейся первым звеном в цепи неисчислимых неизбежностей и безвыходностей, логически и трагически рождавшихся друг из друга и из самой ошибки; итак, после отъезда Сережи начали собираться и мы с Мариной и прощаться с Берлином, с которым, по сути дела, и не поздоровались. Пришла Марине пора нахлобучивать гасильники на вспыхнувшие было на этом перекрестке человеческие отношения: сам отъезд ставил им предел.

За проведенные в Берлине два с половиной месяца Марина не побывала ни в театрах, ни в концертах, ни в музеях – только в Зоологическом саду и в Луна-парке; первое – понятно, ибо все в нашей семье были зверопоклонниками. А Луна-парк? при Марининой неприязни к «публичности» развлечений, да и к самим развлечениям разряда ярмарочных? Может быть, дело

было в том, что помимо аттракционов, обычных для парков такого рода, там наличествовал и необычный: с немецкой дотошностью выполненный – в естественную величину – макет целого квартала средневекового германского города; это должно было привлечь Марину с ее неизменной тягой к былому, как истоку, обоснованию и объяснению настоящего и грядущего; а может быть, ей просто захотелось порадовать меня? Так или иначе, однажды, в конце жаркого июля, мы, под водительством Людмилы Евгеньевны Чириковой, отправились в Луна-парк – с самыми серьезными намерениями: все неподвижное осмотреть, на всем движущемся покататься.

Начали с карусели (розовой, белой, малиновой, как великанский свадебный торт), вертевшейся под сладчайшую же музыку; покружились на колесницах; потом перебрались на лошадок, сперва мерно покачивавшихся, но вскоре пустившихся в галоп, как в пляс. Гордо и грациозно сидела в позолоченном седле моя строгая мама, с замкнутым, каменным (потому, что кругом были люди), лицом, отнюдь не веселясь, а как бы выполняя некий торжественный обряд. Сойдя с карусели, она мне тихо заметила, что в амазонки я пока еще не гожусь, потому что ехала, как кислое тесто, к тому же разинув рот. Я приняла это к сведению, но рот, несомненно, так и продолжала разевать на все четыре стороны.

Не веселилась Марина и попав в комнату смеха, пристально, с несколько брезгливым любопытством разглядывая всех нас троих, по воле кривых зеркал превращавшихся то в Дон Кихотов, то в Санчо Панс, то в какие-то, стоящие на голове, самовары с пуговицами.

Тир ей понравился – как нравились вообще проявления ловкости, меткости – не только умственной, но и физической, как нравились движения и действия, из которых была исключена приблизительность. Тиров было несколько, мужчины стреляли из луков, пистолетов, духовых ружей и даже каких-то арбалетов, поражая летающие, скользящие и кувыркающиеся цели, получали забавные призы, на которые я глядела с жаркой завистью.

Были жонглеры в палатках и фокусники в балаганчиках; борцы; гимнасты; были акробаты, с кошачьей упругостью ступавшие по проволоке, косо перерезавшей небо над аллеей, как стекло – алмазом; были какие-то усовершенствованные, сиявшие никелем, качели, на которых мы взлетали в воздух (качели Марина любила с тарусского детства!) – и еще какие-то тупорылые лодки, зигзагами сновавшие по неравномерно колеблющемуся кругу; были вафли с лимонадом и шарики мороженого в запотевшей вазочке – в кафе среди зелени.

Что до средневекового города, то весь он, новенький с приступочек до коньков крыш и весь состоявший из сплошных фасадов, оказался мертвой подделкой, несмотря на, а может быть, благодаря сверхизобилию правдоподобий в виде точильных колес, пивных бочек, коновязей, гончарных кругов и прислоненных к ним алебард, щедро и рассчитанно-живописно рассеянных вдоль улочки, вытекавшей из современности и в нее же впадавшей.

Когда взрослые отчаялись от развлечений, а я только-только начала ими насыщаться, мы прибрели в тот край парка, в котором ничего не показывали, никуда не зазывали, ни на чем и ни во что не играли, и сели на жесткую травку под соснами, у светлого озерца. Оглядевшись, Марина сказала Людмиле Евгеньевне: «По-моему, и в природе нет отдыха. Вот я думаю: когда буду умирать, у меня будет такое же чувство, как здесь, сейчас, на этом берегу; печали? – торжественности? – и весь грохот, и все кружения – позади?» – «Но ведь это и есть – отдых?..»

Посещение Луна-парка оказалось «последним аккордом» Марининого Берлина, последним взмахом над ним – с высоты качелей; меньше чем неделю спустя мы покидали его, очень ранним, едва пробудившимся утром, а 1 августа 1922 года уже выходили из поезда в Праге.

Маринин несостоявшийся Берлин. Не состоявшийся потому, что не полюбленный; не полюбленный потому, что после России – прусский, после революционной Москвы – буржуазный, не принятый ни глазами, ни душой: неприемлемый. В капитальности зданий, традиционном уюте кафе, разумности планировки, во всей (внешней) отлаженности и добротности города Марина учуяла одно: казармы.

Дождь убаюкивает боль.
Под ливни опускающихся ставень
Сплю. Вздрагивающих асфальтов вдоль,
Копыта – как рукоплесканья.

Поздравствовалось – и слилось.
В оставленности светозарной,
Над сказочнейшим из сиротств
Вы смилостивились, казармы!

Смилостивились ли? Да, пожалуй; спасибо казармам, когда, не снизойдя до того, чтобы заметить тебя, они тем самым предоставляют тебе возможность пройти мимо. Город – всегда взаимность.

Первая цветаевская стихотворная строка, написанная в Берлине, была:

Под булыжниками, под колесами…

Последнее берлинское четверостишие:

До убедительности, до
Убийственности – просто:
Две птицы вили мне гнездо:
Истина – и Сиротство.

С середины мая по конец июля Марина подготовила к печати свои сборники: «Психея», «Ремесло» и второе издание поэмы «Царь-Девица», вышедшие в Берлине в 1922–23 годах; написала около тридцати стихотворений; рассказ в эпистолярной форме «Флорентийские ночи»; и статью о творчестве Пастернака, озаглавленную «Световой ливень», вышедшую в 1922 году. Сборники «Разлука» и «Стихи к Блоку», подготовленные еще в Москве, были опубликованы – под наблюдением Эренбурга – ранней весной 1922 года, в Берлине, еще до приезда туда Цветаевой.

А кроме того, Марина перевела на немецкий язык стихотворение Маяковского для издававшегося Эренбургом на трех языках альманаха «Вещь»; перевела по горячему, впрочем, так никогда в ней и не остывшему, следу самого Маяковского, последней в России встречи с ним.

Встреча эта, судя по записи в тетради, произошла в один из канунных дней Мариниого отъезда, ранним утром, на пустынной еще московской улице. Маяковский окликнул Марину, спросил, как дела. Она сказала, что уезжает к мужу, спросила, что передать заграница? «Что правда – здесь», – ответил он, усмехнувшись, пожал Марине руку и – зашагал дальше.

А она смотрела ему вслед и думала, что оглянись он и крикни: «Да полно вам, Цветаева, бросьте, не уезжайте!» – она осталась бы и, как зачарованная, зашагала бы за ним, с ним.

Эта Маринина мысль вдогонку Маяковскому может быть сочтена «поэтической вольностью», романтическим всплеском и полнейшей несбыточностью, но – и потаенной глубинной правдой. Ведь отъездом своим она перебарывала ту половину себя, что навсегда оставалась в России, с Россией. («Россия моя, Россия, зачем так ярко горишь?»)

«Что правда – здесь». Эти слова Маяковского вошли в

известный текст цветаевского приветствия ему, написанного после его вечера в кафе Вольтер, в Париже, в 1928 году, и опубликованного в левой эмигрантской газете «Евразия» (одним из редакторов которой был мой отец), приветствия, позволившего Марине испытать чувство высокого и глубокого торжества – радости открытого рукопожатия – и причинившего ей немало неприятностей, если можно назвать всего лишь неприятностью то, что «отлученная» за «большевизм» редакцией милюковских «Последних Новостей», иногда печатавших ее, она надолго осталась без заработка, служившего главным источником существования всей нашей семьи.

Письмо, написанное по этому поводу Мариной Маяковскому, экспонировалось им на его выставке «20 лет работы» (которая была восстановлена и возобновлена в прошлом году, к 80-летию поэта) и воспроизведено в книге «Маяковский делает выставку» («Книга», Москва, 1973). Ранней весной 1929 года Марина встретилась с Маяковским в последний раз. По просьбе коммунистов одного из окраинных районов Парижа он согласился выступить перед французской рабочей аудиторией, в маленьком («для свадеб и банкетов»!) полутемном зальце маленького рабочего кафе.

Вечер был скороспешным, без предварительной подготовки. Один из его организаторов (товарищ моего отца) пригласил моих родителей. Ободренная немноголюдием, отсутствием знакомых (любопытствующих глаз), Марина подошла к Маяковскому, познакомила его с мужем.

– Слушайте, Цветаева, – сказал Маяковский, – тут – сплошь французы. Переводить – будете? а то не поймут ни черта!

Марина согласилась, но не села на предложенный стул, – привыкла выступать стоя. Маяковский называл стихотворение, в двух словах излагал его содержание, она – переводила. Он – читал.

Потом были вопросы из зала и ответы в зал. Слушатели не столько поэзией интересовались, сколько жизнью и делами рабочего класса в Советской России. В те годы им не часто приводилось беседовать с человеком оттуда. Попадались и вопросы провокационного характера; на них Маяковский отвечал с привычной резкостью и хлесткостью и тут задал Марине работы, поскольку некоторые наши словосочетания вообще не имеют адекватов на французском языке.

Эти общие черты – все, что донесла моя память из рассказов родителей – сквозь сорок пять лет расстояния! – о вечере, на котором сама не присутствовала, так как присматривала дома за маленьким братом. Сделанные же Мариной непосредственно

после вечера записи не сохранились – они погибли во время войны вместе с той частью архива, которая была оставлена на хранение друзьям во Франции.

Анастасия Цветаева. Коктебель. 1911 г.

Сказать, что Марина любила и понимала творчество Маяковского, – вялая и плоская констатация сегодня, когда он

давно стал мало что самим собой – поэтом, человеком, личностью, – но и частью нашего пейзажа: площадью, станцией метро, пароходом, собственным монументом. Когда любой школьник любит и понимает.

Но она поняла, полюбила и провозгласила его, непонятного и неприемлемого для многих умов и сердец, тогда, когда ему было так безмерно еще далеко до устойчивости и выверенности дара и славы, когда он был всего лишь одним из молодых, да ранних, за громогласностью которых трудно было услышать и распознать поэзию, до той поры изъяснявшуюся в иной, веками утвержденной, тональности; когда еще неясно было, чей творческий потолок и предел близок, а кто – безмерен; кто пойдет вперед и вверх, кто – по собственному кругу; кто вовсе собьется с голосу и с дистанции; когда все, что мы ныне знаем о прошлом, еще только смутно маячило впереди, пробивая себе русло – единственное среди многих возможных.

Она поняла и полюбила его во всей его тогдашней противопоказанности себе самой, его, ниспровергателя былых истин, столь романтически превозносимых ею и о которых она сама вскоре – уже в 1922 году – скажет: «От вчерашних правд – в доме – смрад и хлам…»

Всю жизнь Маяковский оставался для нее истиной неизменной; всю жизнь хранила она ему высокую верность собрата; понимала, что его отношение к ней, к творчеству ее, определяется по признаку ее принадлежности к эмиграции, и, при всей своей уязвимости, при всей убежденности в неправомерности такой оценки, – не обижалась на него – она, взвивавшаяся от куда меньших досад…

Маяковскому она посвятила большой стихотворный цикл в 1930 году и в 1932-м сказала о его творчестве в статье «Эпос и лирика современной России».

Первое свое стихотворение Маяковскому – «Превыше крестов и труб…», написанное в 1921 году, читала ему в Москве, вспоминала, что понравилось.

Пастернак

Среди многих обстоятельств и положений, постоянно мешавших Марине, заставлявших ее негодовать, разочаровываться и попросту страдать – особенно в эмиграции – наипервейшим препятствием был тот речевой барьер, та языковая преграда, которая отделяла ее от окружавших – близких или далеких, пишущих или только читающих– людей.

Сила ее дара, помноженная на неистовую жажду самовыражения и самоотдачи – в дружбе, в любви, в человеческом общении, с роковой неизменностью расшибалась о речевую или эпистолярную холодность – или скупость – или скудость – собеседника, об инакость его самого и его способности (желания) вести диалог на высоте Джомолунгмы.

«Держатели» обыкновенных чувств и мыслей быстро утомлялись от необходимости взгромождаться на ходули или вытягиваться на цыпочках, от несвойственности навязываемого им Мариной напряжения, спрашиваемой с них ею работы ума и всех мускулов духа – если они ими вообще обладали.

Собеседников же творческого склада зачастую раздражала или отпугивала настойчивость, с которой Марина, внедряясь в их собственный строй, перестраивала и перекраивала их на свой особый, сильный и несвойственный им лад, при помощи своего особого, сильного и несвойственного им языка, таланта, характера, самой сути своей.

Новые отношения с новыми людьми у Марины начинались зачастую с того, что, заметив (а не то и вообразив) искорку возможной общности, она начинала раздувать ее с такой ураганной силой, что искорке этой случалось угаснуть, не разгоревшись, или, в лучшем случае, тайно тлеть десятилетиями, чтобы лишь впоследствии затеплиться робкой заупокойной свечкой.

Разумеется, Марина была способна и на «просто отношения» – приятельские, добрососедские, иногда даже нейтральные – и искру возможной (а по тем, эмигрантским, временам и обстоятельствам, пожалуй, и невозможной) общности искала и пыталась найти далеко не в первом встречном. Однако современное ей несоответствие отзыва – зову, отклика – оклику, уподоблявшее ее музыканту, играющему (за редчайшим исключением) для глухих, или тугоухих, или инакомыслящих, заставлявшее ее писать «для себя» или обращаться к еще не родившемуся собеседнику, мучило ее и подвигало на постоянные поиски души живой и родственной ей.

И чудо свершилось: 27 июня 1922 года почтальон принес на Траутенауштрассе, 9, еще одно письмо от Эренбурга – из Бинг-ам-Рюгена; «еще одно», потому что Илья Григорьевич и Марина писали друг другу часто, по два-три раза в неделю, он – продолжая и на расстоянии выполнять свои «опекунские обязанности» по отношению к ней, а она – «отчитываясь» в своих делах и замыслах.

На этот раз конверт оказался куда более тяжелым на вес, чем обычно. Марина, как всегда аккуратно, вскрыла его любимым разрезальным ножом в виде миниатюрной шпаги, в давние годы подаренным Сережей, достала несколько листков сероватой бумаги, исписанных незнакомым, наклонным, летящим почерком, и Эренбургову сопроводительную записочку:

«Дорогая Марина, шлю Вам письмо от Пастернака. По его просьбе прочел это письмо и радуюсь за него. Радуюсь также и за Вас – Вы ведь знаете, как я воспринимаю Пастернака.

Жду очень Ваших стихов и писем!

Нежно Ваш Эренбург».

«Воспринимаю! – сказала Марина с усмешкой. – Мы его любим – а он нас воспринимает!» – и принялась за чтение пастернаковского письма:

«14. VI.22. Москва

Дорогая Марина Ивановна!

Сейчас я с дрожью в голосе стал читать брату Ваше – «Знаю, умру на заре! На которой из двух» – и был, как чужим, перебит волною подкатывавшего к горлу рыдания, наконец прорвавшегося, и когда я перевел свои попытки с этого стихотворения на «Я расскажу тебе про великий обман», я был так же точно Вами отброшен, и когда я перенес их на «Версты и версты и версты и черствый хлеб», – случилось то же самое.

Вы – не ребенок, дорогой, золотой, несравненный мой поэт, и, надеюсь, понимаете, чту это в наши дни означает, при обилии поэтов и поэтесс не только тех, о которых ведомо лишь профсоюзу, при обилии не имажинистов только, но при обилии даже неопороченных дарований, подобных Маяковскому, Ахматовой.

Простите, простите, простите!

Как могло случиться, что, плетясь вместе с Вами следом за гробом Татьяны Федоровны[12], я не знал, с кем рядом иду?

Как могло случиться, что слушав и слышав Вас неоднократно, я оплошал и разминулся с Вашей верстовой Суинберниадой[13] (и

если Вы даже его не знаете, моего кумира, – он дошел до Вас через побочные влиянья, и ему вольно в Вас, родная Марина Ивановна, как когда-то Байрону было вольно в Лермонтове, как – России вольно в Рильке).

Как странно и глупо кроится жизнь! Месяц назад я мог достать Вас со ста шагов, и существовали уже «Версты», и была на свете та книжная лавка в уровень с панелью, без порога, куда сдала меня ленивая волна теплого плоившегося асфальта! И мне не стыдно признаться в этой своей приверженности самым скверным порокам обывательства: книги не покупаешь потому, что ее можно купить!!! Итак – простите, простите!»

Письмо было большое, стройное в своей сбивчивости, написанное залпом, на одном восторженном дыхании – на том самом, которое было и Мариниым дыханием, – написанное не собратом, а – братом по перу. Братом, не узнанным ею и оставленным там, откуда она только что уехала; брошенным ею и тянущим к ней руки; братом, которого она сама «месяц назад могла достать со ста шагов» и между которым и ею с тех пор бездна разверзлась и граница пролегла.

Марина ответила не сразу, дав пастернаковой вести «остыть в себе» (это – при обычной молниеносности ее эпистолярных рипостов!), и не так вглубь, как ей это было присуще; в своем ответе вспомнила обстоятельства их случайных московских встреч, сами встречи, даже слова, которыми оба они обменялись (Маринина память – цепкая, зоркая, долгая – была одной из граней ее дарования), призналась, что только «раз слышала Вас с эстрады, Вы тогда сплошь забывали», что книг его не видела, а прочла всего лишь пять-шесть его стихотворений, не более. К упоминанию о возможности скорого приезда Пастернака в Берлин отнеслась приветливо-сдержанно:

«Напишите, как дела с отъездом? По-настоящему ли (во внешнем мире виз, анкет, миллиардов) – едете?.. Жму Вашу руку. – Жду Вашей книги и Вас. М.Ц.»

Маринина сдержанность была от оглушенности этим голосом – почти что своим; от немыслимости именно этого голоса среди прочих, вокруг нее звучавших; от насущной потребности удостовериться в неподдельности его, в своей подвластности или неподвластности ему; от необходимости дать ему срок – рассеяться, если он – наваждение («аминь, рассыпься!»), или угнездиться и укрепиться в ее душе, если он – правда.

В ее отъезде из Берлина накануне прибытия туда Пастернака было нечто схожее с бегством нимфы от Аполлона, нечто мифологическое и не от мира сего – при всей несомненной

разумности решения и поступка – ибо в Чехию следовало ехать до наступления осени, чтобы устроиться и приспособиться в предстоящей деревне прежде, чем наступит зима, всегда трудная для вновь прибывших, даже в городских условиях.

А может быть, то был – не менее мифологический – бег с уже распознанным, уже достоверным сокровищем в руках, присвоение его, умыкание, нежелание разделять его со всеми в безвоздушном пространстве, окружающем столики «Прагердиле»; та боязнь посторонних глаз, сглазу, которые столь были присущи Марине с ее стремлением и приверженностью к тайне обладания сокровищем: будь оно книгой, куском природы, письмом – или душой человеческой… Ибо была Марина великой собственницей в мире нематериальных ценностей, в котором не терпела совладельцев и соглядатаев…

Так или иначе, ее «жду Вас» оказалось абсолютной поэтической вольностью в 1922 году – и абсолютной человеческой правдой на долгие последующие годы.

Отношения, завязавшиеся между обоими поэтами, не имели и не имеют себе подобных – они уникальны.

Два человека – он и она! – равновозрастных, равномощных во врожденном и избранном (наперекор внушавшейся им музыке, наперекор изобразительности окружавших их искусств!) поэтическом призвании, равноязыких, живущих бок о бок в одно и то же время, в одном и том же городе и в нем эпизодически встречающихся, обретают друг друга лишь в непоправимой разлуке, лишь в письмах и стихах, как в самом крепком из земных объятий!

Это была настоящая дружба, подлинное содружество и истинная любовь, и письма, вместившие их, являют собой не только подробную и настежь распахнутую историю отношений, дел, дней самих писавших, но и автопортреты их, без прикрас и искажений.

Не знаю, все ли письма Пастернака были привезены Мариной в Советский Союз в 1939 году (берегла – все, все, включая обертки от присылавшихся им бандеролей), но привезенные – сохранились, без потерь и утечек, потому что ничьи посторонние руки, ничье любопытство, небрежность, корысть не коснулись их за три с половиной десятилетия.

Пастернак рассказал в своих воспоминаниях об утрате в годы войны части цветаевских писем. Однако с некоторых из них в свое время были сняты копии когдатошним приятелем Пастернака и Асеева, в раннюю свою пору поэтом, А.Крученых, который, без ведома Бориса Леонидовича, широко снабжал этими машинописными копиями разномастных

коллекционеров; обросшие опечатками и изобилующие пропусками списки эти циркулируют до сих пор.

Кроме того, черновики и наброски многих писем сохранились в ее тетрадях – в ее архиве.

Переписка Марины Цветаевой с Борисом Пастернаком длилась с 1922 по 1935–36 годы, достигнув апогея в двадцатые годы, потом постепенно сходя на нет. Из разновременно предполагавшихся встреч не состоялась ни одна; встретились – негаданно и неудачно – в июне 1935-го, когда Борис Леонидович приехал в Париж на Международный конгресс защиты культуры от фашизма; приехал он уже после открытия конгресса, больной, в глубокой депрессии, вызванной событиями и переменами в личной жизни, по самую маковку погруженный в эти события, среди которых, как почуялось Марине, места для нее не оставалось. Его отчужденность и околдованность не ею потрясли и глубочайше ранили ее, тем более, что ее заочность с Пастернаком была единственным ее оплотом и убежищем от реальных неудач и обид последних лет эмиграции.

Веймар.

С тревожной верой, с тревожным восторгом Марина принимает предложение Пастернака, романтическое и несбыточное, встретиться в Веймаре, под сенью обожаемого обоими Гете, – в мае 1925 года.

В дальнейшем, по возвращении Марины в СССР, она видалась с Борисом Леонидовичем достаточно часто, он много и усердно помогал ей и поддерживал ее, но с заоблачностью их дружбы было покончено: однажды сойдя с такой высоты, вторично

подняться на нее невозможно, как невозможно дважды войти в одну и ту же реку.

Влияние на творчество Цветаевой ее переписки с Пастернаком было столь же значительным, сколь своеобычным, ибо влияние это выражалось не в степени присвоения, поглощения одной личностью – другой, не в той или иной мере «ассимиляции», нет, выявлялось оно в определившейся нацеленности Марининой творческой самоотдачи – самоотдачи, обретшей конкретного адресата.

Не говоря о двух прозаических вещах – «Световой ливень» и «Эпос и лирика современной России», из которых вторая относится в равной степени и к Маяковскому, – стихотворений, посвященных Мариной Пастернаку или непосредственно им вдохновленных, не так уж много; не меньше, пожалуй, посвятила она их Ахматовой, или Блоку, или Иксу, или Игреку, посвятила, не надеясь на то, что голос ее достигнет их слуха. Но зато все, что было создано ею в двадцатые годы и в начале тридцатых, в пору ее творческой зрелости и щедрости, кем бы и чем бы ни вдохновлялось это созданное, – все это, от сердца к сердцу, было направлено, нацелено на Пастернака, фокусировано на него, обращено к нему, как молитва.

В нем она обрела ту слуховую прорву, которая единственно вмещала ее с той же ненасытимостью, с какой она творила, жила, чувствовала.

Пастернак любил ее, понимал, никогда не судил, хвалил – и возведенная циклопической кладкой стена его хвалы ограждала ее от несовместимости с окружающим, от неуместности в окружающем… Марине же похвала была необходима, иначе она зачахла бы от авитаминоза недолюбленности, недопонятости или взорвалась бы от своей несоразмерности аршину, на который мерила ее читающая и критикующая эмиграция, (Не о нескольких близких и верных речь, разумеется.)

Усугубившаяся в тот период усложненность ее поэтического языка (нынче, в семидесятые годы, внятного и «массовому» читателю, но труднодоступного «избранному» читателю двадцатых годов) тоже отчасти объясняется Мариниой направленностью на Пастернака: речь, понятная двоим, зашифрованная для прочих! Ибо для освоивших четыре правила арифметики до поры до времени остается зашифрованной высшая математика…

Вот что пишет Марине о поэзии в одном из своих писем 1922 года Пастернак периода «высшей математики» своего собственного творчества:

«Я знаю – Вы с не меньшей страстью, чем я, любите – скажем

для короткости – поэзию. Вот что я под этим разумею.

Я больше всего на свете (и, может быть, это – единственная моя любовь) – люблю правду жизни в том ее виде, какой она на одно мгновенье естественно принимает у самого жерла художественных форм, чтобы в следующее же в них исчезнуть. Телодвижение это жизни не навязано со стороны. Бирнамский лес по собственной своей охоте лезет в эту топку. Не надо обманываться: вероятно, мы односторонни. Весьма возможно, что жизнь разбредается по сторонам и что ее поток образует дельту.

Нам, с доскональной болью знающим одно из ее колен, позволительно представить себе устье именно в этом ее изгибе. И на любом ее верховье, ничего не знающем о море, можно, закрыв глаза, при крайней сверхчеловеческой внимательности к тону ее тока и пластике ее плеска, представить себе, что с ней когда-нибудь будет и, следовательно, какова ее сущность и сейчас…»

И, переходя от дельт, потоков и устьев поэзии к ее берлинским частностям, к ее тотчас же за рубежом возникшей раздробленности и определившемуся мелководью, добавляет:

«Я был очень огорчен и обескуражен, не застав Вас в Берлине. Расставаясь с Маяковским, Асеевым, Кузминым и некоторыми другими, я в той же линии и в том же духе рассчитывал на встречу с Вами и с Белым.

Однако, разочарование на Ваш счет – истинное еще счастье против разочарования Белым. Здесь все перессорились, найдя в пересечении произвольно полемических и театрально приподнятых копий фикцию, заменяющую отсутствующий предмет. Казалось бы, надо уважать друг друга всем членам этой артели, довольствуясь взаимным недовольством, без которого фикции бы не было. Последовательности этой я не встретил даже в Белом…»

Марина находилась уже в Чехии, и надежды на немедленную встречу с Борисом Леонидовичем – просто сняться с места и поехать налегке и накоротко в Берлин – у нее не было; из-за того, что некому было «нажать на инстанции» для получения визы; из-за того, что подобная поездка была не по карману, а главное, – не по чувству ответственности перед близкими за содержимое этого тощего кармана! (Все в Чехии оказалось не по карману, кроме окружающей пражские пригороды, действительно прелестной природы…)

Но это была внешняя, так сказать бытовая, сторона невозможности. Марине, с ее энергией и волей к борьбе, может быть, удалось бы преодолеть эту невозможность, будь она убеждена в необходимости встречи, в своей внутренней готовности к ней. Если бы втайне не страшилась ее.

И с тревожной верой, с тревожным восторгом Марина принимает предложение Пастернака, романтическое и несбыточное, встретиться в Веймаре, под сенью обожаемого обоими Гёте, – в мае 1925 года. «…А теперь о Веймаре: Пастернак, не шутите! Я буду жить этим все два года напролет. И если за эти годы умру (не умру!), это будет моей предпоследней мыслью. Вы не шутите только. Я себя знаю. Пастернак, я сейчас возвращалась черной проселочной дорогой… – шла ощупью: грязь, ямы, темные фонарные столбы. Пастернак, я с такой силой думала о Вас – нет, не о Вас – о себе без Вас, об этих фонарях и дорогах без Вас, – ах, Пастернак, ведь ноги миллиарды верст пройдут, пока мы встретимся!

…Два года роста впереди, до Веймара. (Вдруг – по безумному! – начинаю верить!) Мне хочется дать Вам одно обещание, даю его безмолвно: – буду присылать Вам стихи и все, что у меня будет в жизни…»

Из двух назначенных лет проходит год – огромный год «жизни, как она есть» – во всей ее растворяющейся повседневности и календарности, со всеми ее заботами, досадами, радостями, дождями, радугами, бессонницами, недоразумениями, новыми знакомствами, старыми спорами, шумящими примусами, – огромный год творчества в потоке жизни и наперекор ему – год переписки с Пастернаком, год нарастания этой титанической, поэтической страсти, страсти «поверх барьеров»…

«14.6.1924

Марина, золотой мой друг, изумительное, сверхъестественно родное предназначенье, утренняя дымящаяся моя душа, Марина… За что я ненавижу их[14]. Ах, Марина, они невнимательны к главному. Того, что утомляет, утомительной долготы любованья они не передают. А это – самое поразительное.

Сквозь обиход пропускается ток, словно как сквозь воду. И все поляризуется… И когда сжимается сердце, – о, эта сжатость сердца, Марина!.. И насколько наша она, эта сжатость, – ведь она насквозь стилистическая!

Это – электричество, как основной стиль вселенной, стиль творенья на минуту проносится перед человеческой душой, готовый ее принять в свою волну… ассимилировать, уподобить!

И вот она, заряженная с самого рождения и нейтрализующаяся почти всегда в отрочестве, и только в редких случаях большого дара (таланта) еще сохраняющаяся в зрелости, но и то действующая с перерывами, и часто по инерции,

перебиваемая риторическим треском самостоятельных маховых движений (неутомляющих мыслей, порывов, «любящих» писем, вторичных поз) – вот она заряжается вновь, насвежо, и опять мир превращается в поляризованную баню, где на одном конце – питающий приток… времен и мест, восходящих и заходящих солнц, воспоминаний и полаганий, – на другом – бесконечно-малая, как оттиск пальца в сердце, когда оно покалывает, щемящая прелесть искры, ушедшей в воду…

…Какие удивительные стихи Вы пишете! Как больно, что сейчас Вы больше меня! Вообще – Вы – возмутительно большой поэт. Говоря о щемяще-малой, неуловимо электризующей прелести, об искре, о любви – я говорил об этом. Я точно это знаю.

Но в одном слове этого не выразить, выражать при помощи многих – мерзость.

Вот скверное стихотворение 1915 года из «Барьеров»:

Я люблю тебя черной от сажи
Сожиганья пассажей, в золе
Отпылавших андант и адажий
С белым пеплом баллад на челе,
С заскорузлой от музыки коркой
На поденной душе, вдалеке
Неумелой толпы, как шахтерку,
Проводящую день в руднике.

О, письмо, письмо, добалтывайся! Сейчас тебя отправят. Но вот еще несколько слов от себя:

Любить Вас так, как надо, мне не дадут, и всех прежде, конечно, – Вы. О, как я Вас люблю, Марина! Так вольно, так прирожденно, так обогащающе ясно. Так с руки это душе, ничего нет легче!..

Вы видите, как часто я зачеркиваю? Это оттого, что я стараюсь писать с подлинника. О, как меня на подлинник тянет! Как хочется жизни с Вами! И, прежде всего, той ее части, которая называется работой, ростом, вдохновеньем, познаньем. Пора, давно пора за нее. Я черт знает сколько уже ничего не писал, и стихи писать наверное разучился.

Между прочим я Ваши тут читал. «Цветаеву, Цветаеву!» – кричала аудитория, требуя продолжения…

…А потом будет лето нашей встречи. Я люблю его за то, что это будет встреча со знающей силой, т. е. то, что мне ближе всего, и что я только в музыке встречал, в жизни же не встречал никогда… И вот опять письмо ничего не говорит. А может быть

даже оно Ваши стихи рассказывает своими словами. – Какие они превосходные!..»

«…Я буду терпелива, – пишет Марина, – и свидания буду ждать, как смерти. Отсюда мое:

Терпеливо, как щебень бьют,
Терпеливо, как смерти ждут,
Терпеливо, как вести зреют,
Терпеливо, как месть лелеют —

Буду ждать тебя (пальцы в жгут —
Так Монархини ждет наложник),
Терпеливо, как рифму ждут,
Терпеливо, как руки гложут,

Буду ждать тебя…

…Нужно быть терпеливым, великодушным, пожалуй– старше возраста. Только старик (тот, кому ничего не нужно) умеет взять, принять все, т. е. дать другому возможность быть, приняв – избыток…

Ваше признание меня, поэта, до меня доходит – я же не открещиваюсь. Вы – поэт, Вы видите – будущее. Хвалу сегодняшнему дню (делу) я отношу за счет завтрашнего. Раз Вы видите – это есть, следовательно – будет.

Ничья хвала и ничье признанье мне не нужны, кроме Вашего. О, не бойтесь моих безмерных слов, их вина в том, что они еще слова, т. е. не могут еще быть только чувствами.

…Я очень спокойна. Никакой лихорадки. Я блаженно провожу свои дни. В первый раз в жизни не чары, а знание. Вы в мире доказаны помимо меня.

О, не превышение прав и не упокоение в себе! Кроме Элизиума духа есть еще чешский лес, с тростинками, с хворостинками, с шерстинками птиц и зайцев, – лбом в Элизиум, ногами на чешской земле. Поэтому покойно только мое главенствующее. А ногам – для того, чтобы идти к Вам – нужна рука, протянутая навстречу. Хочу Ваших писем: протянутой Вашей руки…

Что до «жизни с Вами»…

– Исконная и полная неспособность «жить с человеком», живя им: жить им, живя с ним.

Как жить с душой – в квартире? В лесу может быть – да. В вагоне может быть – да (но уже под сомнением, ибо – I класс, II класс, III класс, причем третий класс вовсе не лучше первого, как

и первый класс – третьего, а хуже всех – второй класс. Ужасен – разряд).

Жить (сосуществовать) «с ним», живя «им» – могу только во сне. И – чудно. Совершенно так же, как в своей тетради…

…Думаю, что из упорства никогда не скажу вам того слова. Из упорства. Из суеверия. (Самого пустого, ибо вмещает все, самого страшного, после которого все начинается, то есть – кончается.) Его можно произносить по пустякам, когда оно заведомо – гипербола. Мне – Вам – нет.

…На моей горе растет можжевельник. Каждый раз, сойдя, я о нем забываю, каждый раз, всходя, я его пугаюсь: человек! потом радуюсь: куст! Задумываюсь о Вас и, когда прихожу в себя – его нет, позади, миновала. Я его еще ни разу близко не видела. И думаю, что это – Вы…»

«Стихи устали», – говорила я, маленькая, Марине, когда ей не писалось.

В 1924 г. Пастернак сообщает Марине о рождении сына, – и она поздравляет – первенец! «Первенец – всегда единственный, сколько бы братьев у него ни было!» – и радуется его имени, длящему имя матери: Евгения, Евгений! – несмотря на то, что действенно не любила имен с окончанием на «ий», находя их недостаточно мужскими, мужественными. За исключением имени Георгий (мужественного, потому что Победоносец!) – каковым и

нарекла собственного сына, родившегося в 1925 году.

«Борис, родной! Не знаю, дошло ли до Вас мое письмо, давнишнее… Длительность молчания между нами равна только длительности отзвука, вернее – все перерывы наполнены отзвуком. Каждого Вашего письма (всегда последнего!) хватает ровно до следующего. При частой переписке получилось бы нечто вроде сплошного сердечного перебоя. Сила удара равна длительности его действия – есть ли такой закон в физике? Если нет – все равно есть…

Борис, если не долетело – повторю вкратце: в феврале я жду сына… Я Вам его посвящаю, как древние посвящали своих детей – божеству…»

Но именем «божества» сына она не нарекла.

«Назовя мальчика Борисом, я бы этим самым ввела Бориса Пастернака в семью, сделала бы его чем-то общим, приручила бы его, – и утеряла бы для себя… Тонкое, но резко-ощутимое чувство»… Кроме того: «Имя Борис не сделает его ни поэтом, ни Пастернаком!» – записывает она вскоре после рождения ребенка в своей тетради, в которой растет поэма «Крысолов». И – самому Пастернаку, в письме от 14 февраля 1925-го:

«Дорогой Борис!

1 февраля, в воскресенье, в полдень, родился мой сын Георгий. Борисом он был девять месяцев во мне и десять дней на свете, но желание Сережи (не требованье!) было назвать его Георгием – и я уступила. И после этого – облегчение.

Знаете, какое чувство во мне работало? Смута, некоторая внутренняя неловкость: Вас (любовь!) вводить в семью, приручать дикого зверя: любовь! обезвреживать барса…

Отнимать его у своих, а Вас – своим – отдавать. Делать Вас общим достоянием…. Что-то дикое (т. е. ручное) – вроде племянника и дяди…

…Это не безумие, а самый точный расчет (NB! Так говорят все сумасшедшие!)…»

Чтобы показать, как тема детей вплелась в заоблачную симфонию этой переписки, тема, отчасти обусловившая несбыточность мечтанной встречи (встреч, ибо одна несбыточность оборачивалась другой, и все Пастернаковы замыслы – в том числе и замысел совместной с Мариной работы над переводом «Фауста», – опять же в Веймаре, но годы спустя – оказывались неосуществимыми), – приведу отрывок письма Бориса Леонидовича о его – двухлетнем! – сыне. Письмо – уже на «ты» (1926 год) – и этому (столь заочному!) «ты» Марина долго сопротивлялась, боясь низвести отношения до уровня

обыденности…

«Ради бога, не посылай ничего сыну. Я до глубины души тронут тем, как ты об этом пишешь… Ты как-то спросила, отчего я о нем не пишу. Оттого, что он на руках у всего дома; оттого, что у него не такая няня, какой бы я желал, и это все может исковеркать ему язык; оттого, что мать целые дни во ВХУТЕМАСе, с утра до вечера… оттого, что я ей ничего не могу сказать, потому что знаю, что и я бы ходил во ВХУТЕМАС, и никакая семья бы меня не остановила; оттого, что всеобщая любовь делает мальчика эгоистом и баловником, и умаляет его трогательность и подлинность в моих глазах, иногда видящих его иначе; оттого, что моя любовь к нему испещрена примечаниями; оттого, что это мое сочинение пишется чужими руками, и я не в силах этого переделать, потому что, чем шире разъезжается эта нескладица, тем больше приходится мне зарабатывать, тем меньше, значит, я ей принадлежу… Вот отчего я не люблю говорить о нем.

Он настолько похож на мою детскую карточку, что, когда ее случайно нашли при разборке папиного архива, то выдали за снимок с него.

Может быть, он не так будет безобразен, как я, может быть – только по-другому. Но все это, все это придется когда-нибудь переделать…»

Однако возможно, что опасения Пастернака за чистоту языка двухлетнего младенца, за его наружность и боязнь пагубного влияния всеобщей любви на его характер были вызваны в немалой степени тем обстоятельством, что данное письмо было написано «…с этой невозможной зубной болью. Это у меня в третий раз за последнее время. В разгаре работы, при повышении нервной деятельности, разболевается правая половина нижней челюсти. Когда недавно флюс был, это другое, это – слева. А тут все симптомы до точности повторяются. Боль – благороднее зубной и – невыносимей. Что за наказанье? Что мне делать?!»…

О, как Марина отзывалась – всем своим языческим-материнским нутром – на эти сугубо земные приметы Пастернака, на вдруг взрывавшие поэтическую ткань его писем просто зубную боль, просто физическую усталость или рассерженность неурядицами! Она и мифологию любила за способность богов и героев оскользаться и ушибаться по-земному – среди нечеловеческих подвигов и деяний: и не только любила, но и в творчестве своем постоянно обращалась к ее аллюзиям и коллизиям…

Но Борис Леонидович в письмах своих удивительно умел перемахивать через способные вызвать жалость или сочувствие к нему житейские неполадки, чтобы не отягощать ими

корреспондента – а также не вызывать на себя встречный их поток. С Мариной он любил говорить иначе и об ином. Вот как он пишет ей о прочтенной им «Поэме Конца»:

«26.3.26…Я четвертый месяц сую в пальто кусок мглисто-слякотной, дымно-туманной ночной Праги с мостом то вдали, то вдруг с тобой перед самыми глазами, – качу к кому-нибудь подвернувшемуся в деловой очереди или в памяти и прерывающимся голосом посвящаю их в ту бездну ранящей лирики, микеланджеловской раскинутости и толстовской глухоты, которая называется Поэма Конца. Попала ко мне случайно, рембрантонированная, без знаков препинания…

С каким волнением ее читаешь! Точно в трагедии играешь. Каждый вздох, каждый нюанс подсказан. «Преувеличенно – то есть». «Но в час, когда поезд подан – вручающий». «Коммерческими тайнами и бальным порошком». «Значит не надо, Значит не надо»…

Тут живое, со слуха, что все эти дни при мне, как «мое с неба свалившееся счастье», «родная», «удивительная», «Марина», или любой другой безотчетный звук, какой, засуча рукава, ты можешь достать с моего дна…

Какой ты большой, дьявольски большой артист, Марина! Но о Поэме больше ни слова, а то придется бросить тебя, бросить работу, бросить своих и, сев ко всем вам спиною, без конца писать об искусстве… о никем никогда по-настоящему не обсужденном откровении объективности, о даре тождественности с миром, потому что в самый центр этих высот бьет твой прицел, как всякое истинное творение.

Только небольшое замечание об одном выраженье. Я боюсь, что у нас не во всем совпадает лексикон. Слова «артист» и «объективность» могли быть оставлены тобой… я же их захватил с собой.

…Ты объективна, ты главным образом талантлива – гениальна. Последнее слово зачеркни, пожалуйста. В личном употреблении это галерочное, парикмахерское слово. Когда я с ним сталкивался, мне становилось не по себе, как, вероятно, и тебе. Его когда-нибудь о тебе скажут – или не скажут. Все равно, не отрицательная гадательная такса, а положительная загадочность слова висит всегда над тобой воздушной крышей, под которую, год за годом, ты выводишь свою физику.

Важно то, чем ты занимаешься. Важно то, что ты строишь мир, венчающийся загадкой гениальности.

В твои дни, при тебе, эта крыша растворена небом, живой синевой над городом, где ты живешь, или который, за писаньем физики, воображаешь. В другие времена по этому покрытию

будут ходить люди и будет земля других эпох. Почва городов подперта загаданной гениальностью других столетий.

…Ты пишешь о своем недохождении при первой читке, о круговом молчании, воцаряющемся за ней. Мой опыт в этом отношении страдает если не той же, то очень близкой правильностью. Только самые ранние и сырые вещи, лет пятнадцать назад (т. е. буквально первые и самые начальные), доходили (но и до полутора только человек) – немедленно.

Вскоре же я стал считать двухлетний промежуток между вещью и ее дохождением за мгновенье, за неделимую единицу, потому что только в редких случаях опаздывали на эти два года, чаще же на три и больше…»

Всего два-три, ну, скажем, три-четыре года между созданием трудночитаемой вещи и ее дохождением до читателя! То есть – почти параллельный, почти синхронный рост пишущего и читающего! Нет, о подобных сроках Марина не могла и мечтать. Она вообще не могла мечтать ни о каких прижизненных сроках дохождения там, на чужой стороне, потому что ее читатель (не читатель – исключение, а читатель как естественно-массовое явление) в эмиграции отсутствовал, его просто не существовало, и неоткуда было ему взяться по тем временам и условиям. Он, захвативший с собой сотрадиционных ему писателей и поэтов, равно как и сотрадиционных им критиков, не тяготел к новизне, не будучи к ней причастен ни сном, ни духом, ни трудом, ни умом, и был к ней в лучшем, в наимилосерднейшем для этой новизны случае равнодушен и глух, как пень.

Марина, писавшая Пастернаку: «Ничья хвала и ничье признанье мне не нужны, кроме Вашего», – утверждала это зажмурившись; кому, как не ей, было знать, что поэты пишут не для поэтов, и даже не для Поэта с большой буквы, каким был для нее Пастернак; и что скульптуры ваяют не для скульпторов; и музыканты творят не для музыкантов; что все подлинное творится для множества людей, ради их жажды к творимому, как к насущному.

Кому, как не ей, было знать, сколь не вечен единственный читатель, даже если он поэт, тем более, если он поэт… Ведь она сама бывала столь непостоянна в своих высоких верностях!

Пока же они оба стремились друг к другу, рвались к несбыточной встрече, обменивались рукописями только что написанного, книгами, журнальными публикациями; перехлестываясь через письма, они делались достоянием многих; Пастернак, «обобществления» которого страшилось Маринино воображение, вскоре стал заочным членом нашей семьи, тем самым «диким и ручным племянником и дядей»; другом близких

Марининых и Сережиных друзей; поэтом, читаемым и любимым той горсткой людей, чьи лица и души уже поворачивались к новой России. Первым изданием, опубликовавшим в начале 20-х годов на чужбине стихи советских поэтов (само собой разумеется, и Пастернака), был пражский студенческий журнал на русском языке «Своими путями», редактировавшийся моим отцом…

В 1924 году Пастернак опубликовал несколько цветаевских стихотворений «чешского периода» в альманахах «Русский современник» и «Московские поэты»; остальные же ее произведения, доходившие, из рук Пастернака и Эренбурга, главным образом, до советских поэтов, встречали у многих из них то признание и понимание, каких ей не случалось встречать и не привелось дождаться от эмигрантских «собратьев». Вот, к примеру, отрывок из письма Семена Кирсанова, написанного им в августе 1926 года своему другу Эмилю Фурманову:

«…Помнишь, мы читали М. Цветаеву? Так вот: Пастернак получил из Праги ее две вещи – «Поэма Конца» и «Крысолов». По мнению Асеева, Пастернака, моему и других – это лучшее, что написано за лет пять. «Поэма Конца» нечто совершенно гениальное, прости за восторженность! «Крысолов» – верх возможного мастерства. Если мне удастся переписать их – я тебе пошлю отрывки…»

В 1927 году на вопрос Пастернака, не страдает ли Марина от своей – в эмиграции – безвестности, от неправомерности этой безвестности и непризнанности, она отвечает:

«…Ты взволновался о славе, теряю свой «час славы». Есть ли в этом горечь? Досада, пожалуй, И вот почему: когда я пишу, я ни о чем не думаю, кроме вещи. Потом, когда написано – о тебе. Когда напечатано – о всех.

И вот, мое глубокое убеждение, что – печатайся я в России, меня бы все поняли. Да, да, все – из-за моей основной простоты; потому что каждый бы нашел свое, потому что я – много, множественное. И меня бы эта любовь – несла. Просто – в России сейчас есть пустующее место, по праву – мое…»

Объясняя, почему она считает себя более «доходчивой» до российского читателя, чем Пастернак, Марина пишет: «Ты читателя в себя вводишь, я – вывожу, раскрепощаю. Я – одна секунда в жизни читателя, толчок. Дальше – его дело, действие. Ты видимое превращаешь в невидимое (явное делаешь тайным), я – невидимое в видимое (тайное – явным).

Но, чтобы вернуться к славе – моих книг в России нет, и поэтому поэта – нет.

…Мой отрыв от жизни становится все непоправимее. Я «переселилась», унося с собой все страсти, всю нерастрату – не

тенью, обессиленной жизнью, а живою – из живых…»

Этой беде, этому отрыву «из живых» Пастернак помочь не мог – да и кто мог, да и что – могло? Оторвавшись от России, не влившись в эмиграцию, Марина постепенно становилась как бы неким островом, отделившимся от родного материка – течением Истории и собственной судьбы. Становилась одинокой, как остров, со всеми его (своими!) неразведанными сокровищами…

Аля. Девочка с «венецианскими глазами».

Пастернак остро и болезненно ощущал эту отторгнутость Марины, неумолимую последовательность, с которой обрывались связующие ее с Россией нити живых человеческих отношений, и поэтому, узнав об отъезде за границу – по приглашению Горького – Анастасии Ивановны Цветаевой (которую хорошо знал), – обрадовался предстоящему празднику свидания сестер. «Конечно, ты уже списалась с Асей и поражена этой сбывшейся несбыточностью не меньше моего… Известие это привез брат, да и то не сам говорил с ней по телефону, а соседи передали… Тот факт, что она не известила меня о поездке заблаговременно, при вероятной суматохе последних сборов, не стоит упоминания. Я что-нибудь может быть передал бы! Все равно, ей есть что рассказать и передать, если только избыточная, переливающаяся через край полноподробность встречи с тобой не вытеснит памяти о всех Мерзляковских и Волхонках…» (А. И. Цветаева жила в то время в Мерзляковском переулке, а Борис Леонидович – на Волхонке.)

Он нетерпеливо ждал возвращения Аси, встречал ее на вокзале, жадно, с печалью и все же надеждой слушал ее рассказы…

«Дорогая Марина! Валит снег, я простужен, хмурое, хмурое утро. Хорошо, верно, сейчас проплыть на аэроплане над Москвой, вмешаться в этот поход хлопьев и их глазами увидать, что они делают с городом, с утром и с человеком у окна…

Вот главные нервные пути моего влеченья к тебе, способные затмить более непосредственные: мне нужно «соблазнить» тебя в пользу более светлой и менее отреченной судьбы, нежели твоя нынешняя, и я это так чувствую, точно именно это, а не что-нибудь другое, составляет мою грудь и плечо…

По словам Аси, она старалась рассказывать обо мне в наивозможно худшем духе (чтобы уберечь тебя от неизбежного разочарования?).

Она либо клеплет на себя, либо поступила как надо, либо же… а, да мне все равно. Замечательно, что о тебе она рассказывала так, что я с трудом удерживался от слез: очевидно, на мой счет у ней нет опасений…

Она дала мне свои экземпляры твоих «С моря» и «Новогоднего», Екатерина Павловна[15] скоро должна привезти мои.

Что сказать, Марина! Непередаваемо хорошо! Так, как это, я читал когда-то Блока; так, как читаю это, писал когда-то лучшее свое. Страшно сердечно и грустно и прозрачно. Выражение, растущее и развивающееся, как всегда у тебя, живет совпаденьем значительности и страсти, познания и волнения…

Прежде и больше всего я, конечно, люблю тебя, что может быть ясно ребенку. Но я не был бы собой теперешним, если бы оставался у этого сумасшедшего родника, а не шел вниз вдоль его течения, по всем последовательностям, которые лепит время.

Время, твоя величина и моя тяга.

И вот – планы, планы. Тебе кажется естественным положение, в котором ты находишься, мне – нет.

Выправить эту ошибку судьбы, по нашим дням, еще Геркулесово дело. Но оно и единственное, других я не знаю.

В письме к Горькому, между прочим, эту целенаправленность я выразил так: «Если бы Вы меня спросили, что я теперь собираюсь писать, я ответил бы: все, что угодно, что может вырвать это огромное дарование (т. е. тебя) из тисков ложной и невыносимой судьбы и вернуть его России».

Но годы шли, а планы, непретворимые в действие, расплывались и рассеивались, а судьба оставалась ложной и невыносимой, а дети и заботы росли, а письма – начиная с 1931 года, приходили все реже.

«Стихи устали», – говорила я, маленькая, Марине, когда ей не писалось. Наступило время, когда «устали» Пастернаковы письма. Почувствовав это по неуловимому сперва изменению их тональности, Марина перестала вызывать их на себя; выдерживала чрезмерно долгие «контрольные» паузы между получением их и ответом; в ответе же не усмиряла накапливавшейся горечи.

В 1935 году, ровно через десять лет после несбывшейся «встречи в Веймаре», состоялось их беглое и бедное свидание в Париже, за кулисами Всемирного конгресса деятелей культуры.

В октябре 1935 года Пастернак писал в ответ на не сохранившееся в цветаевском архиве письмо: «Дорогая Марина! Я жив еще, живу, хочу жить – и – надо. Ты не можешь себе представить, как тогда, и долго еще потом, мне было плохо. «Это» продолжалось около пяти месяцев. Взятое в кавычки означает: что не видав своих стариков двенадцать лет, я проехал, не повидав их; что вернувшись, я отказался поехать к Горькому, у которого гостили Роллан с Майей, несмотря на их настояния; что, имея твои оттиски, я не читал их; что действие какой-то силы, которой я не мог признать ни за одну из тех, что меня раньше слагали, укорачивало мой сон с регулярностью заклятья, и я ждал наступленья той первой здоровой ночи, после которой мог бы возобновить знакомую и родную жизнь вслед за этой, неузнаваемой, никакой, непроглядной.

Тогда бы только и смогли прийти: родители, ты, Роллан, Париж и все остальное, упущенное, уступленное, проплывшее

мимо.

Может быть, это затянулось по моей вине. Больше еще, чем участие врачей, требовалось участие времени. Я ему вредил своим нетерпеньем… Это было похоже на узел с вещами, разваливающимися в спешке: подбираешь одно, ползет другое.

Это прекратилось лишь недавно, с переездом всех в город с дачи и моим возвращением к привычной обстановке. Я стал спать и занялся приведеньем здоровья в порядок…

Теперь я прочел твою прозу. Вся очень твоя, всегда смотришь в корень и даешь полные, запоминающиеся определения, все безошибочно, но всего замечательнее «Искусство при свете совести» и «У Старого Пимена»; отчасти и о Волошине. В этих, особенно названных двух, анализ, ненасытимость анализа так сказать, вызваны природою предмета, и жар, и энергия, которые ты им посвящаешь, естественны и легко разделимы.

В «Матери и музыке» такой надобности на первый взгляд меньше, или же разбор, как ты и сама замечаешь (диезы и бемоли) идет не по существу. Но твоих образов и черточек и тут целая пропасть…

Летом мне переслали твое письмо… Я не мог тебе ответить вовремя, потому что был болен. Помнишь ли ты свою фразу про абсолюты? В ней все преувеличено. А состояние мое, которому ты была свидетельницей, преуменьшено. Но такое непонимание – оно естественно – я встретил и со стороны родителей: они моим неприездом потрясены и перестали писать мне.

Я хочу жить и боюсь что-нибудь накаркать. Давай думать, что это только перерыв в моей жизни…

Но, допустим, – а вдруг я поправлюсь и все вернется? И мне опять захочется глядеть вперед, и кого же я там, по силе и подлинности того, например, что было в Рильке, вместо тебя увижу?..

Когда же вы приедете?

Скажи, а не навязываюсь ли я тебе, – после твоего летнего письма?

Твой Б.».

Движение под откос этого письма, его опущенность в остуженность по сравнению с огнем и подъемом прошлых лет поразили, ранили Марину не меньше, чем отдельные, к ней относящиеся фразы, такие, как «ты… и все остальное… проплывшее мимо», чем незатронутость последними ею написанными вещами, прочитанными Пастернаком – впервые – с запозданием, чем беглость упоминания о невстрече его с родителями.

Признававшая только экспрессии, никаких депрессий Марина не понимала, болезнями (не в пример зубной боли!) не считала, они ей казались просто дурными чертами характера, выпущенными на поверхность – расхлябанностью, безволием, эгоизмом, слабостями, на которые человек (мужчина!) не вправе. Тут же последовал не ответ, а – отповедь, в которой Пастернак, по тогдашнему своему состоянию, вероятно, менее всего нуждался! (Отрывки из нее были опубликованы в подборке цветаевских писем журналом «Новый мир» № 4 – 1969 г.) Отповедь эта – один из ярчайших и яростнейших цветаевских эпистолярных автопортретов, горькая и жаркая проповедь жизнеутверждающего и действенного начала – основы ее основ.

…Если обоим поэтам не пришлось встретиться в жизни так, как в письмах и рукописях, то проститься – довелось. Борис Леонидович – вместе с юным тогда поэтом Виктором Боковым – провожал Марину в эвакуацию (от которой тщетно пытался ее отговорить) – в июле 1941 г., с Северного речного вокзала Москвы.

А вот что, десятилетие спустя, в октябре 1951 года, писал мне Пастернак о годах своей высокой дружбы с Мариной: «…В течение нескольких лет меня держало в постоянной счастливой приподнятости все, что писала тогда твоя мама, звонкий, восхищающий резонанс ее рвущегося вперед, безоглядочного одухотворения. Я для вас писал «Девятьсот пятый год» и для мамы – «Лейтенанта Шмидта». Больше в жизни это уже никогда не повторялось…»

Чехия

Ни отъезда из Берлина, ни приезда в Прагу, ни встречи с Сережей на пражском вокзале, ни нашего пристанища самых первых дней (вероятно, то была одна из «кабинок» Сережиного общежития «Свободарна») – я не помню; даже тончайшей путеводной ниточки к ним не осталось в памяти, словно прямо с тех берлинских качелей мы с Мариной, закрыв глаза, перемахнули в чешскую деревню с неуютным собачьим названием «Мокропсы». Мало того, что Мокропсы, так еще и Дольние!

Началось, правда, с Мокропсов Горних – там мы сутки перебились под ненадежным кровом двух милых барышень-студенток, Сережиных знакомых – Маруси и Вали, – пока Сережа с Мариной искали в окрестностях подходящее жилье.

Кров был ненадежным, ибо хата (вся внутри в занавесках, вышивках, покрывалах и подзорах) принадлежала ведьмистой хозяйке, при которой нельзя было ни чайника вскипятить, и вообще, ни встать, ни сесть, ни дух перевесть, тем более нам, посторонним.

Правда, гауптвахтенность хаты смягчалась милотой и миловидностью барышень-сестер, а вызывалась, по-видимому, их же притягательным воздействием на мужскую половину мокропсинского студенчества; потенциальные женихи и несомненные «кавалеры» с настороженной непринужденностью все прохаживались вдоль забора, а бабка все ворчала, словом – как у Гоголя.

Кругом, куда ни глянь, расстилалось изумительное лето, зеленый простор, окаймленный лиловыми еловыми холмами, пересеченный речкой. Все окрестные деревеньки, каждый отдельный домик, выглядывали из густой оторочки кудрявых плодовых садов; в палисадниках цвели георгины, а на каждой калитке красовалась дощечка с надписью: «Позор на пса!», что означало всего лишь – «осторожно, собака!».

По неопытности я обрадовалась было огромному количеству гусей – непременному украшению сельского пейзажа Чехии тех лет, – но они, увы, оказались племенем воинственным, быстрым в атаке и щипливым; мне частенько доставалось от них, если не успевала схватить хворостину… Особенно злы они бывали, когда расхаживали «голышом», заживо ощипанные на перины. Пух на груди у них, впрочем, вновь к зиме отрастал. Но, как бы там ни было, хороши были эти белые, шипящие, по земле шарящие змеиными шеями белоснежные гусиные облака, рассеянные по обочинам проселков, обсаженных высокими, гладкоствольными

сливами.

Поселились мы по ту сторону речки Бероунки, переправляться через которую приходилось на пароме, у высокого железнодорожного моста; тихая, мирная вода угрожающе гудела под его пролетами. Тут холмы расступались, деревушка лежала как на ладони, потому и называлась Дольней. За покупками приходилось ходить в другие деревни; меня только радовало таскать кошелки – помогать маме.

«Протокольная» запись в моем дневнике рассказывает о нашем быте в первые месяцы по приезде в Чехию:

«Домик, в котором мы живем, расположен в долине. В нем три комнаты, из которых одну занимаем мы. Двор маленький, огород средний, собака Леве и куры. Домик выкрашен в желтый с белым цвет, крыша – розовая, черепичная. Живет здесь семь человек, из которых четверо детей. Не так далеко от нас – большое село Вшеноры. Там две лавки, есть трехэтажные дома и железнодорожная станция. День таков: встаем часов в восемь, Марина готовит завтрак, а я убираю все постели, два стола, оба подоконника и подметаю пол хозяйским веником. Потом иду за молоком, выношу помои и приношу воду из близкого колодца. После завтрака мою посуду, а Марина ставит варить обед и садится писать. Я тоже пишу свои четыре странички. После обеда иду гулять, иногда Марина берет меня с собой на прогулку. Вечером читаю и рисую и рано ложусь спать. Иногда кто-нибудь приходит в гости, иногда Марина куда-нибудь ходит.

Сергей Эфрон.

Издавна и нежно повелось – Марина звала Сережу Львом, Лёве, он ее – Рысью, Рысихой; сказочные эти клички вошли в домашний, семейный наш обиход, привычно подменяя подлинные имена, и так – до самого конца жизни.

Сережа обыкновенно четыре дня живет в Праге, в «Свободарне», занимается очень много. На остальные дни приезжает сюда. Утром ни за что не хочет есть, сердится на то, что мама дает ему какао вместо чаю и заставляет мазать хлеб

маслом, и ему одному варит яйца, а ему это необходимо, потому что он очень худой и усталый. После завтрака он садится на свою серую кровать и обкладывается книгами или ходит взад и вперед по комнате и учит наизусть записанное в тетрадке. После обеда отказывается гулять, и напрасно Марина ему говорит: «Идем, Сереженька, ну в лес, ну во Вшеноры, ну на скалы!» – «Ну пойдем, папа! Ну пожалуйста!» – «Мариночка, я не могу, мне нужно еще порядочно подготовиться к экзаменам. Начинается осенний ряд экзаменов, а провалиться я не хочу». – «Ну, неужели не можете?» – «Нет, Мариночка!» – «Ну хоть полежите тогда, хоть немного!» – «Хорошо, хорошо, полежу».

И мы с Мариной уходим – во Вшеноры, в лавку, или на наши любимые пять или шесть скал.

Настает день Сережиного отъезда, и мы тогда встаем в шесть часов, Марина варит какао и жарит Сереже гренки с яйцами, Сережа бреется, одевается, я накрываю на стол и безумно тороплюсь, так что руки дрожат. Подаю сахар и соль и все нужное. Наконец завтракаем, очень быстро, если папа уезжает с поездом 7.20. Ну вот. Достаем Сереже его маленький чужой чемоданчик, кладу туда бритву, мыло, зубную пасту, зубную щетку, полотенце, носовые платки, тетради и достаю его непромокаемое пальто.

Идем провожать нашего папу. Марина что-то забывает дома и возвращается обратно, а мы с Сережей прячемся в канаву с нападавшими сливами. Слышим топот каблуков, мамин шаг. Тогда мы рычим и мяукаем, и Марина восклицает: «Фу! Вы сидели, как двое страшных бродяг – или нищих!» Прибавляем шагу, почти бежим сокращенной дорогой. Вот мост, вот и вокзал. Сережа берет билет, и мы садимся на скамейку. Вдруг: у-у-фью! – мимо нас мчится рыхлик в четыре вагона: Прага – Париж. Рыхлик – почешски скорый поезд. Грохот. Это он въезжает на мост.

Потом: дон-дон-дон… это Сережин. Вот. – «До свидания, Мариночка! Мы увидимся в пятницу!» – «До свидания, папа! Приезжайте скорей!» – «До свидания, Аля! До свидания, Мариночка!»

И поезд трогается».

Думаю, что из всех вокзалов, с которых когда-либо куда-либо отбывала, на которые когда-либо прибывала (или встречала, или провожала) Марина, больше всего ей в душу запал этот, Вшенорский: чистенькая, безлюдная пригородная станция, с прилаженными под навесом цветочницами, из которых свешивались настурции; два фонаря по краям платформы; семафор; рельсы.

Марина часто ездила в Прагу. В ожидании поезда, у этих

фонарей она вела свой мысленный разговор с Пастернаком. Мысли мчали ее в пролетавшем мимо рыхлике к изголовью больного Рильке или в недосягаемую даль столь близкого по расстоянию Веймара.

По этой платформе вышагивались ее поэмы. По этим рельсам накатывала на нее даль. Россия.

Покамест день не встал
С его страстями стравленными,
Из сырости и шпал
Россию восстанавливаю…

…Из сырости – и стай…
Еще вестями шалыми
Лжет вороная сталь —
Еще Москва за шпалами!

И еще:

…Точно жизнь мою угнали
По стальной версте —
В сиром мороке – две дали…
(Поклонись Москве!)

Детская дневниковая запись – о внешних приметах Мариниых дней в первой из чешских деревень (за три с небольшим года, вплоть до отъезда во Францию, мы жили в Дольних и Горних Мокропсах, Новых Дворах, Иловищах, Вшенорах, одну зиму – 1923/24 – Марина с Сережей – в Праге, а я – в гимназии-интернате в Моравской Тшебове).

Внутренние же приметы: первая «чешская» тетрадь Марины начата 6 августа 1922 года, а первое стихотворение в ней:

Сивилла: выжжена, сивилла: ствол.
Все птицы вымерли, но бог вошел… —

помечено 5 августа, то есть родилось еще вне тетради, до тетради, в разгар переезда, поисков жилья, устройства в нем, знакомства с новыми людьми, обстоятельствами, условиями – то есть в бытовой суматохе и суете, из которой такие стихи не рождаются. (Эпиграф этой тетради, впоследствии открывающий последний прижизненный сборник «После России», вышедший в

Париже в 1928 году, – слова Тредиаковского:

«От сего, что поэт есть творитель, – не наследует, что он лживец: ложь есть слово против разума и совести, но поэтическое вымышление бывает по разуму тбк, как вещь могла и долженствовала быть».)

Итак, тетрадь начиналась с «Сивиллы», сама же Сивилла, как и все цветаевские образы, шла издавна и издалека, далеко вперед, преображаясь и конкретизируясь в пути – от полудетского, вопрошающего: «О, для чего я выросла большая? Спасенья нет!», от «Слово странное – старуха! Смысл неясен, звук угрюм…» до кристаллизации темы прорицательницы, «выбывшей из живых», «с веком порвавшей родство» окаменевшего вместилища божественного, бессмертного дара и духа.

С основными своими темами Марина не расставалась всю свою творческую жизнь, и они, переходя из одной ипостаси в другую, как бы кустились, давая все новые ответвления от ее ствола и корней.

Так, по первоначальному плану, цикл «Сивилла», осуществившийся в трех стихотворениях, должен был состоять из девяти; предполагавшееся содержание пятого и шестого: «Сивилла, не помнящая (себя)» и «Сивилла, не помнящая (других)» естественно перелилось – из мифологической Греции в сказочную Россию – во вторую часть поэмы «Мулодец», превратившись в зачарованное беспамятство Маруси, героини поэмы. (Работа над «Молодцем», продолжающим линию «русских» цветаевских поэм, была начата в Москве, накануне отъезда, а завершена в Горних Мокропсах, в течение двух, не перебитых ни одним стихотворением, последних месяцев 1922 года.)

Попутно тема Сивиллы родила – или вместила в себя – близлежащие: уходящей молодости, седых волос («значит, бог в мои двери – раз дом сгорел!», где бог – все тот же неизменный Феб, бог бессмертного вдохновения и призвания, сжигающий смертное свое обиталище – плоть «прорицательницы»). Отблеск Сивиллиного «костра под треножником» лег – все в одной и той же тетради – и на цикл «Деревья», и на многие иные стихотворения.

Что до самого Молодца, обряженного в кумачовую рубаху, действующего в окружении русской сказочной завораживающей жути, то не разночтение ли он и не инако ли толкование незримого, но главенствующего героя «Сивиллы», не спешившийся ли герой поэмы «На красном коне», отнимающий у любящей и любимой все дорогое, но бренное – вплоть до жизни! – во имя неумирающего, вечного? Даже концы обеих поэм, уносящие, возносящие героиню в синюю, полыхающую твердь

поэзии, – родственны:

…Доколе меня
Не умчит в лазурь
На красном коне —
Мой Гений!

(«Накрасном коне»)

…Зной – в зной,
Хлынь – в хлынь!
До-мой, В огнь синь.

(«Молодец»)

Всегда поражавшее меня свойство Мариниых лирических тетрадей (в их числе и этой, первой чешской, переплетенной в полосатый коленкор, с Сережиной дарственной надписью): сквозь их страницы просвечивают творчески преображенные календарные листки давно прошедших лет с их ничем не примечательными повседневностями, та растворившаяся в небытии реальность, обыденность, которая столь часто служила причиной возникновения столь отвлеченных от обыденности произведений.

Листкам календаря уцелевших повседневностей могут уподобиться некоторые записи моих детских дневников; по ним легко прослеживаются непосредственные первопричины иных цветаевских стихотворений, вернее то, как случайность первопричин выводила на поверхность листа Маринину мысль, непрестанно подспудно работавшую в ней. Вот, к примеру, обыкновенное описание обыкновенной прогулки: «Мы с Мариной – на реке. По воде идут неизвестно куда полуволны, полурябь. Приближаемся к пенным порожкам, проходим под мостом, где гремит эхо. Сырая тропинка между ив, как коридор… Тихо и осторожно, с камня на камень, подбираемся к какому-то дереву, которое Марина заранее уже любит. Вот оно близится, и через две минуты мы сидим на пригорке под ним, на его перекрученных иссохших седых корнях. Я хочу поговорить с Мариной, но она говорит «Помолчи, дай послушать воду!» Слушая, мама выкурила две папиросы, полюбовалась на реку, записала отрывки стихов в маленькую тетрадку, а на обратном пути мы собирали ежевику и видели пустую змеиную шкурку…»

А стихи, напетые в тот день Марине «полуволнами,

полурябью» маленькой уютной Бероунки, это: «Но тесна вдвоем даже радость утр», с их заклинающим рефреном:

«Над источником слушай-слушай, Адам, чту проточные жилы рек – берегам… Берегись!..»

Вот запись о «развлекательной» нашей поездке в Прагу, в гости к Сереже, с посещением театра (смотрели «Сверчок на печи» Диккенса), а до «Сверчка» гуляли в окрестностях «Свободарны» по унылому заводскому району (без готики и барокко!), пили кофе с рогаликами и «пивными» сырками в рабочей каварне (кофейной), говорили, шутили, смеялись, заходили в магазины, пытаясь купить необходимую в нашем хозяйстве сковороду, не зная, как она по-чешски называется, а после «Сверчка» ночевали в свободной кабинке Сережиного общежития и уехали рано, чтобы дать Сереже доготовиться к экзаменам, вот-вот начинавшимся, – все просто и мило, мило и просто, разве что «Сверчок» чуть празднично приподнял поверхность данных полутора дней… Но что впитала в себя из этой милоты и простоты Маринина тетрадь?

Весь набиравший силу разбег цикла «Деревья» остановлен в ней на лету вклинившейся темой «Заводских», антитемой, по сути, «Деревьев»: «Стоят в чернорабочей хмури закопченные корпуса…» и «У последней, последней из всех застав…»

Да, вот чем схватила Марину за душу «Злата Прага»: рабочей своей окраиной, заводскими трубами и корпусами, изматывающей жалобой фабричного гудка, и – угаданными так, словно своими глазами увиденными, на собственные плечи взваленными, судьбами «сирых и малых, злых – и правых во зле!». А всего-то и было, что прошлась, казалось бы, беспечально, взад-вперед по этим улицам, не более чем угрюмым на вид…

Сама фабричная суть окраин капиталистических городов оказалась Марине внове; старая Москва была небогата фабриками и не ими славилась. Только Запад явил Марине несовместимость взаимосвязей городских пейзажей – и не только пейзажей… Ибо в эти же дни она пишет свою «Хвалу богатым» – сомнительный мадригал, посвященный с вершин всего богатства собственной нищеты великой нищете и тщете богатства: «…и за то, что в учетах, в скуках, в позолотах, в зевотах, в ватах, вот меня – наглеца, не купят – утверждаю: люблю богатых!..»

Сквозь идущее в том же «окраинном» потоке стихотворение: «Спаси господи – дым!» просвечивают и реальность нашего переезда – из одной деревни и хаты в другую, и – воспоминание о пражской «заставе»: именно так вот городская беднота перебирается с квартиры на квартиру, вернее: из трущобы в трущобу. Сколько будущих наших смен места жительства в парижских пригородах предвосхищает это стихотворение!

А о наших деревенских, чешских переездах пусть расскажут все те же выписки из детского дневника…

Переезд на чердак

Вот приходит к нам хозяйка и за ней целый хвост детей и муж. Великолепный рыжий пес «пан Греко» лежит на наших вещах, раскинув лапы. Хозяйка в ужасе: «Кто допустил того пса до покоев?» Я-то знаю, кто, я вывожу собаку. Мы укладываем все вещи в тачку и очень рады, что ее повезет хозяин, и что не самим перетаскивать в руках. Я надеваю пальто, кладу во все карманы всякие отребья, чтобы и это не досталось хозяевам, прощаемся со всеми и уходим. Хозяин везет тачку, а мы торжественно плетемся рядом: Марина с лампой[16] и спиртом для примуса, а я с керосином и кофейником. Идем, идем, наконец заворачиваем в уличку, где страшная грязь. Доходим до лавки, на которой написано имя хозяйки, «Марианна Саскова», поворачиваем к черному ходу, Марина идет в лавку разменять деньги за перевоз, и наш новый хозяин вместе со старым помогает тащить вещи наверх. Комната прекрасная. Косое окно, довольно темно. Два стола, две кровати, три стула. Есть даже помойное ведро.

Прага. 1923 г.
Крайняя слева – Марина Цветаева.
Сзади слева – Сергей Эфрон, справа – Константин Родзевич.

…Теперь мы тут живем. Марина впускает в наше косое окно и солнце и луну. Возле этого окна она всегда сидит и пишет, если не стоит возле примуса, разогревая, варя. В окно видны самые

разноцветные деревья, и темно-зеленые, и красноватые, и коричневые. Они растут на горе. Еще на горе живут две хозяйские кошки, черная и серая. Их совсем невозможно поймать…

Это – конец сентября. А в первых числах ноября – опять переезжаем. «Накануне мы с Мариной, по дороге в лес, прошли мимо уютного домика с желтой окраской, зеленой калиточкой. Я говорю маме: – Ах, как бы я хотела быть маленькой[17], жить у дедушки с бабушкой вот в этом домике! А на другой день, вечером, приезжает папа и зовет Марину смотреть комнату. Когда они возвратились, я вдосталь наслышалась рассказов о новой комнате: низенькая, с тремя оконцами, изразцовой печкой и т. д.

На другой день, 2 ноября, начали перебираться. Первыми пошли мы с папой. Папа надел через плечо ремень и прицепил портплед и громадный набитый разным скарбом чемодан. Я же несла корзинку со всей маминой, папиной и своей обувью. Шли мы очень долго, а когда наконец пришли, то я увидела, что это был тот самый желтенький домик с зеленой калиткой. Во дворе стояла конура, из которой выбежала белая, очень изящная собачонка, бешено залаявшая на нас и закувыркавшаяся от злобы, что не может нас достать. Старушка хозяйка оказалась глухая и поэтому долго не открывала. Когда мы вошли в комнату, то я увидела, что она правда очень низенькая, и что направо от входа стоит изразцовая печь с духовкой и множеством заслонок, слева – два небольших окна с зелеными рамами, а третье, совсем маленькое, возле печки. Стол, скамейка длинная, две кровати, одна изголовьем к окну. Хорошо, что домик совсем рядом с лесом, близко будет ходить за хворостом. Сережа напрасно пытается договориться с хозяйкой о сене или соломе, чтобы набить матрасы: она не слышит и не понимает и предлагает купить у нее картошку или лук. Выкладываем наши пожитки и возвращаемся. Марина сажает Сережу отдыхать и читать «Войну и мир», а мы опять набиваем саквояж и корзину и идем вдвоем с мамой. Льет дождь, по дорогам текут ручьи грязной, глинистой воды. В одном месте идем в воде по щиколотку. Наконец добираемся до нового жилья, опять выкладываем вещи и идем обратно той же склизкой дорогой, все время увязая в грязи. Возвращаемся на наш, уже почти совсем опустевший, чердак. Сережа разогрел суп и поджарил картошку. Обедаем все вместе, очень быстро, потому что Сереже надо ехать на лекции. В следующий раз встретимся с ним уже на новом месте…

Попрощавшись с папой, еще два раза относим с Мариной остатки вещей – в спинном мешке и в моей корзине, а в последний раз в корзине и в ведре, в которое Марина вкладывает кофейник с кофеем, жестянку с крупой, бутылку керосина и

всякие тряпки, чтобы ничто не пролилось. В правой руке мама несет ведро, в левой лампу, А я несу корзину с посудой то в одной руке, то в другой. Очень стараемся не поскользнуться, чтобы ничего не разбить, особенно лампу.

Наконец, приходим насовсем. Собачонка, которую зовут Румыга, уже начала к нам привыкать – только лает, но больше не кувыркается. Раскладываемся, пристраиваем всю посуду на возвышение у печки, а кастрюли и кружки вешаем на специальные гвозди под полкой, украшенной вырезанными из бумаги фестонами.

Вечереет. Марина из-за переезда разрешает мне не заниматься арифметикой, а почитать «Ревизора». А сама садится за свою тетрадь, и мы обе едим яблоки, сколько хотим…»

Так мы и зимовали в этой комнате с зелеными рамами и низким небеленым потолком – у глухой старушки с собакой Румыгой. Зимовали хорошо, тесно, дружно, пусть и трудно. Трудности мне стали видны впоследствии, девочкой я их просто не понимала, может быть, потому, что легкой жизни и не знала; то, что на мою долю приходилась часть домашней работы, считала не только естественным – радостным; то, что у меня было всего два платья, не вынуждало меня мечтать о третьем – а оно было бы кстати хотя бы потому, что случалось мне и виснуть на заборах, и цепляться за сучья, и потом, заливаясь слезами, зашивать, с великой тщательностью, прорехи; то, что редки были подарки и гостинцы, только повышало их волшебную ценность в моих глазах.

Главное же: мужественная бедность Марины и Сережи, достоинство, выдержка и зачастую юмор, с которыми они боролись со всеми повседневными тяготами, поддерживая и ободряя друг друга, вызывали у меня такое жаркое чувство любви к ним и соратничества с ними, что уже это само по себе было счастьем. Счастьем были вечера, которые иногда проводили мы вместе, у стола, освобожденного от еды и посуды, весело протертого мокрой тряпкой, уютно и торжественно возглавленного керосиновой лампой с блестящим стеклом и круглым жестяным щитком – рефлектором; Сережа читал нам вслух привозимые им из Праги книги; Марина и я, слушая, штопали, чинили, латали. С тех пор и навсегда весь Гоголь, Диккенсовы «Домби и сын» и «Крошка Доррит» слышатся мне с отцовского голоса и чуть припахивают керосином и вытопленной хворостом печкой.

Книг было мало; своих – раз-две и обчелся, и каждая, заполученная и прочитанная, оказывалась событием.

Однажды Сережа достал «Детство» Горького, необычайное, не

схожее ни с чьим, ранее читанным и сопережитым детством, и Марина, которой случалось чутко задремывать с иголкой в руке под наизусть знакомую ей гоголевскую чертовщину или Диккенсову трогательность, – эту книгу слушала по-особому, иногда прерывая чтение краткими восклицаниями одобрения.

Случалось Сереже читать и по-французски, по программе изучавшегося им в университете языка, – какие-то отрывки, рассказики, которые он тут же на ощупь переводил на русский. Марина жестко, как деревенский костоправ – вывихи, ставила ему произношение и подсказывала значение непонятных слов.

Однажды и она стала в тупик перед словом «dŭfroque» (хлам, ветошь), неожиданно и как-то некстати возникшим среди гладкого и даже сладкого текста; пришлось обратиться к словарю, старого издания, многоглагольному, но беспомощному. «Де – дед – дес – деф…» – бормотал папа, водя пальцем по мелким строчкам, «…деф… вот! Defroque – пожитки мертвого монаха. Гм… Странно! При чем тут монахи? Тут про барышню, про молодого человека, про весну… Странно!» – «И – выразительно! – подхватила мама. – Какая в этом печаль, отринутость, нищета… Что может быть нищее мертвого монаха? Кстати: какие у монаха, да еще мертвого, могут быть пожитки? Спал на голых досках, хлебал из монастырской миски, похоронен в собственной рясе… Власянице». – «Ну, может быть, ложка осталась? – неуверенно предположил папа, уже смеясь глазами. – Кипарисовая, с крестиком?» – «Ложка! Ложка – не пожитки. Пожитки – это всякая дребедень, барахло, вот как у нас. Да, но при чем, все же, монах?» – «Мертвый! Мертвый монах! – с жаром ввязалась я. – Наверное, в нем все и дело. Остальное – для отвода глаз. Может быть, он упырь и оборотень и теперь прикидывается молодым человеком? Как у Жуковского? Как у Вас, Марина, в «Молодце»?» Тут уж и Марина засмеялась, и «в этот вечер больше не читали», по крайней мере пофранцузски.

…Счастьем была наша семейная сказка – импровизация, которую Марина и Сережа рассказывали мне перед сном, когда я себя хорошо вела, что случалось не каждый день. Это была длинная звериная повесть с приключениями и продолжением; начало ее терялось в юности моих родителей и в моем самом раннем, почти младенческом, детстве; Сережа замечательно изображал Льва и Обезьяну, Марина – Кошку и Рысь.

Изначальные Звери множились на подсобных; их странствия, проделки, побеги из неволи, преследования и спасения начинались всегда с центральной – Вацлавской – площади Праги, чтобы оттуда растечься по тридевятым царствам и тридесятым государствам. Лев был благороден, Рысь – непоследовательна и

коварна, остальные действующие лица обладали иными свойствами; все они попадали в удивительные переплеты, из которых выручали друг друга – иначе бы мне не заснуть…

Издавна и нежно повелось – Марина звала Сережу Львом, Леве, он ее – Рысью, Рысихой; сказочные эти клички вошли в домашний, семейный наш обиход, привычно подменяя подлинные имена, и так – до самого конца жизни. Маринины тетради испещрены Сережиными «львиными» рисунками; уходя, а чаще всего – убегая («утапатывая», как говорил Лев из сказки) – в университет ли, по бесчисленным ли делам, Сережа набрасывал силуэт Льва: благодарного, пообедавшего, с толстым пузом, или – привычно-тощего, вскакивающего в последний вагон уходящего поезда; Льва, плачущего крупными слезами или смеющегося во всю пасть – чтобы Марина, раскрыв тетрадь, улыбнулась ему вслед, принимаясь за работу…

Марина же часто подписывала свои письма к Сереже и ко мне заглавной буквой «Р» и рисовала – в виде росчерка – длиннохвостую дикую кошку или только ухо ее, с кисточкой, – чуткое ухо Рыси…

А вот Маринин «Рысиный» автограф в моей тетради, посреди моей, развалистым, небрежным почерком размахнувшейся, «Характеристики Ноздрева»: «Пьяница, неглуп, сжил со света жену, сживает и кормилицу, и потом еще какую-нибудь…»

«Сегодня, 26 сентября по старому стилю, в день моего тридцатилетия, в 7 1/2 ч. вечера ты, обманом не желавшая писать и разозленная моей прозорливостью, – в ответ на мое предложение нарисовать тебе рысь ответила: «Тьфу на Ваших рысей!» (Повторила дважды.)»

Тут, между моей ленью, маминой прозорливостью и предложением нарисовать мне рысь – высшую, так сказать, награду за прилежание, которым я вообще не отличалась, – небольшой логический разрыв. Видно, мне влетело от этой самой прозорливости, и я обиделась (табельный, все-таки, был день!) – Марина спохватилась, захотела меня утешить, а я обозлилась и заупрямилась… Так или иначе, мы быстро помирились, потому что – вот она (все же), Рысь, изображенная мамой, Рысь в роли голубя-миротворца, хоть и с угрожающей кисточкой на ушах, и в позе готовности к очередному (прозорливому) прыжку… И дальше, опять же среди Ноздрева, мое утихомиривающееся ворчанье: «Милая Рысь, так как сегодня твое рожденье, поздравляю тебя и забываю все твои обиды. Хоть ты теперь и старая тридцатилетняя Рысь, но сидишь еще крепко на спине… Я тебе подарила коробку спичек, свою картинку льва в пустыне, грушу, три тетрадки и три папиросы, а Вы говорите, что я плохо

пишу. Мне жаль, что в день рожденья Рысь в Вас проснулась донельзя…»

С Рысью можно было быть на ты, с Мариной – только на Вы.

…И еще было счастье – настолько ведомое каждому человеку, что не стоило бы о нем и заикаться, если бы не во многом утраченная нами ныне особость его «компонентов», – счастье детских праздников! Заслуженности их, ибо они – понятие не только календарное…

Счастье елки, которое начинаешь выстраивать ангельским поведением и титаническим трудолюбием – не без срывов, увы, – грозящих обвалом всего сверкающего здания!

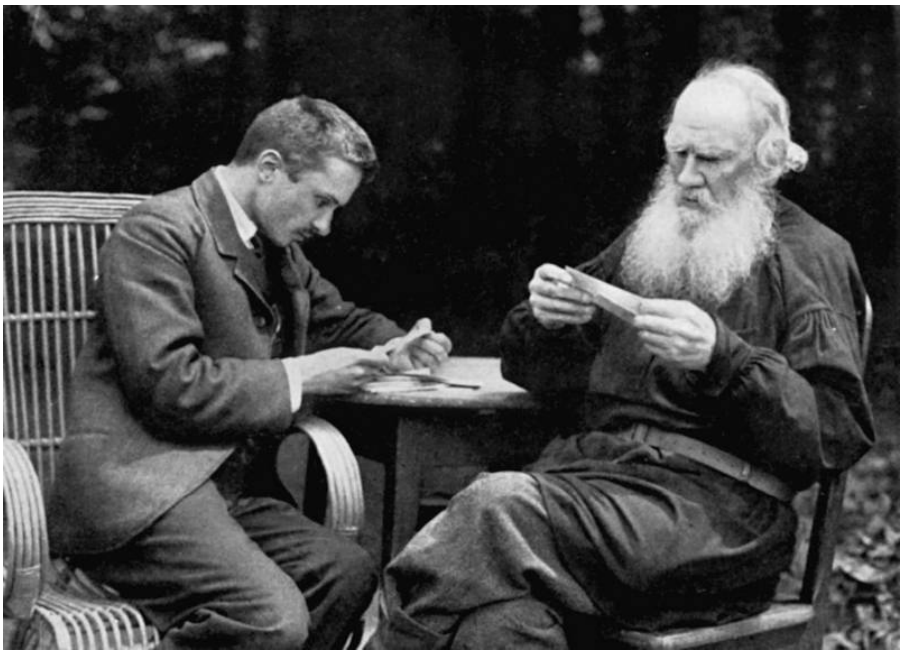
Счастье украшений, сделанных собственными руками из бережно накопленных в большой картонке под кроватью аптечных баночек и конфетных оберточек, обрезков и картинок, яичных скорлупок и спичечных коробок, собранных в лесу шишек и букетиков сухой рябины – что ни игрушка, то изобретение, овеществленная идея… Цветная бумага, привезенная папой, ножницы, сваренный в жестянке мучной клейстер, картонная «палитра» с матовыми пуговками акварели, проволока, катушка ниток… Чтобы дорваться до этих богатств, первоисточника будущих елочных сокровищ, чтобы иметь право всласть изобретать, резать, клеить, раскрашивать, надо хорошо, на совесть – и быстро! – справиться со всеми дневными задачами и обязанностями. И тогда – вот твой заслуженный край стола, твой заслуженный – наравне со взрослыми – досуг, заслуженное чудо творимого тобой и тобой приближаемого праздника.

Наверное, они были ужасны, мои косолапые картонные тигры в каторжную полоску, тряпичные деды Морозы, кривые звезды, спичечные ангелы, скорлупочные клоуны, мельницы и санки из коробков; наверное, аляповаты были хлопушки, а бумажные цепи достойны Бонивара – но какие фабричные игрушки с их безупречной формой и стандартным глянцем могут сравниться с детскими самодельными, в которые столько души вложено, столько старания и – творческого восторга! Только звезды небесные им сродни!

Как они, украшения эти, оживали в теплом мерцании свеч, отъединяясь от нас, уже не властных над ними, как горделиво и кротко царствовали на зеленых, пробудившихся от морозной скованности, сильных, топорщащихся ветках…

…А еще было волшебство «не наших» праздников, чешских, деревенских. На «святого Николая» в лавках пана Балоуна во Вшенорах и пани Сасковой в Мокропсах продавались пряники – фигурки святого, от маленьких, подешевле, до здоровенных, которые лишь самим лавочникам могли оказаться по карману.

Каждый пряник был щедро разукрашен цветной глазурью, ею были выписаны по ржаному его полю складки одеянья, епитрахиль с крестами и посох. Прилепленный сахаром бумажный печатный лик в благостных морщинах взирал на покупателя с выражением всепрощения. Оно оказывалось кстати: налюбовавшись печеным чудотворцем, малолетние дикари и еретики пожирали его до крошки, из почтения начиная с ног…



Валентин Булгаков и Лев Толстой в Ясной Поляне. 1910 г.

На Святках в убогих витринах сельских лавок располагались игрушечные вертепы с деревянными, бороздчатыми и угловатыми богородицами, Иосифами, младенцами в яслях с настоящей соломой, волхвами, волами и ослами; над ними дрожала большая хвостатая звезда из серебряной канители; дети прибегали издалека полюбоваться на эти кустарные чудеса, да и взрослые останавливались умиленно. Деревня дышала сложным, пряным, сытным запахом деревенского праздника – ваночек (от слова ваноце, рождество) – продолговатых хитросплетенных булок с миндалем и изюмом, только что вынутых из духовок; жарящихся гусей, лука, шафрана, ванили.

Откуда-то из-за синих гор появлялись кукольники, давали представления в зальце «мэрии». Театр умещался на столе; вел спектакль Кашпарек, чешский Петрушка, длинноносый человечек с неподвижной улыбкой полумесяцем, в полосатом колпачке с кисточкой. Представление начиналось с загадки, задаваемой

Кашпареком детям, – об украденной страшным черным орлом маленькой звездочке, находившейся в плену у похитителя добрых три сотни лет… «А потом пришли охотники, пиф-паф, от орла только перья полетели! Он выпустил пленницу из когтей, и вот она вновь сияет на небосклоне… что же это за звездочка, дорогие мои мальчики и девочки?» – «Ческословенско! Чехословакия!» – вопят маленькие зрители и бьют в ладоши. (В ту пору обретенной в 1918 году чехами независимости их от Габсбургов сравнялось всего 4–5 лет.) «Правильно, дорогие мои. Весьма справедливо, уважаемые! А сейчас мы покажем вам древнюю легенду о знаменитом докторе Фаусте, которую артисты наши исполняют на этой сцене не одну сотню лет!»

И правда, легенда оказывается догетевской, и очень старинными – куклы в парчовых и бархатных нарядах, приводимые в гибкое движение – вплоть до точеных пальчиков – сотнями незримых нитей.

Ремесло, вернее – высокое искусство бродячих кукольников, передавалось из поколения в поколение, вместе с дивными, готически-удлиненными фигурками марионеток, костюмами, декорациями, реквизитом; вместе со взыскательной любовью к делу и ласковым уважением к зрителю; вместе с традиционным, в большинстве своем народным, репертуаром; вместе с керосиновым и свечным освещением…

Об этих своих счастьях позволяю себе упоминать (отстраняя многие иные, ибо не об этом речь) только потому, что они, несомненно, были островками радости и для моих родителей, передышками на пути теснивших трудностей и нараставших тревог. Но детские радости лежат на поверхности событий; радуясь чужим святкам, просторам, чужому гостеприимству, дети эмигрантов до поры до времени не сознают своей национальной непричастности всему этому – и многому другому; своего национального сиротства и неравноправия. Им, живущим сегодняшним днем и часом, пока еще чужда забота о грядущем и чувство ответственности за него. Они верят в сами собой приходящие, не заработанные и не выстраданные чудеса; так, пока Сережа ломал себе голову над тем, как выправить и направить пополам сломанную жизнь, пока Марина уходила в творчество, как в схиму, я всего-навсего мечтала о том, как найду «кошелек с двумя миллионами», один из которых отдам родителям, а второй распределю между «бедными русскими студентами», маминой сестрой Асей и Максом Волошиным… «и еще 500 крон Людмиле Чириковой на книги. Мы зажили бы хорошо, ездили бы куда захочется третьим классом (!), у нас чаще

мыли бы полы и часто стирали. Однажды, начав подметать, я нашла бы возле своей кровати клетку с кроликами, с двумя красноглазыми кроликами…». Мечты миллионера!

В конце августа 1923-го родители отвезли меня в Моравску Тшебову, маленький, пограничный с Германией городок, где находилась русская гимназия-интернат для детей беженцев. Сережа подготовил меня по арифметике, к которой я была идиотически неспособна, Марина попыталась подогнать грамматические основы под беглое мое писанье и чтенье взахлеб; еще я выучила латинский алфавит и длинную молитву «Верую» – короткие знала и до того.

Марине не хотелось меня отпускать: по старинке она считала, что девочкам образование ни к чему, и – боялась разлуки. И на разлуке, и на образовании настоял отец. Кроме того, в гимназии работали в качестве воспитателей недавние однополчане отца, супруги Богенгардты. Он – высокий, рыжий, с щеголеватой выправкой, офицер еще царской армии, она – крупная, громоздкая, с волосами, собранными на затылке в тугой кукиш, с явно черневшими над верхней губой усиками – сестра милосердия, мать-командирша.

На фронте она выходила его после тяжелых ранений, отлучила от водки, отвела от самоубийства, стала его женой. И, чтобы жизнь получила оправдание и смысл, оба посвятили ее детям-сиротам. (Много лет спустя, в середине тридцатых годов, на парижской стоянке такси я вдруг увидела в одной из машин рыжую бороду, напомнившую мне детство. – Богенгардт! – Рассеявшаяся было дружба возобновилась. Мы с родителями ездили в богенгардтовский дальний пригород из своего, в маленький домик, в котором вокруг постаревшей, еще более раздавшейся, но не сдававшейся Ольги Николаевны толпились и копошились приемыши – которое уж поколение! Трудно, почти невозможно было обеспечивать их существование ненадежным заработком шофера, но любовь к обездоленным детям – великая чудотворица. Это были люди большого сердца.) У них остановились Марина и Сережа на недолгое время моих приемных экзаменов – потом родители расстались со мною до Рождества.

2 сентября 1923 года они переехали из деревни в Прагу.

Единственной усвоенной мною в Тшебове наукой оказалась наука общежития. По остальным я успевала, пока хватало домашней подготовки; вскоре, оставаясь первой по русскому языку, стала – среди сорока одноклассников – последней по арифметике.

Судьбы детей, «заключенных» в продолговатые белые бараки

интернатского городка и отгороженных от окружающего глухой кирпичной стеной, были однообразно-причудливы и бесконечно печальны. После отбоя в дортуарах девочки рассказывали о себе, о близких, которых многие уже потеряли. При свете ночника возникали неведомые мне русские города и городишки, дома, квартиры, именья, семьи – потом ухабистые пути бегства, кромешные трущобы сказочного Константинополя и его притоны, в которых «танцевала» или «пела» мама – или старшая сестра…

После подъема все были дети как дети; учились, играли, плакали, шалили, дразнились, мирились. И когда однажды в тшебовское захолустье прибыл, в поисках наших «сенсационных» автобиографий, корреспондент какой-то французской газеты, многие из младших не сумели их написать, настолько «неинтересным» казалось им пережитое. Ну а некоторые начали просто фантазировать на заданный сюжет. Так, один милый мой маленький товарищ начал свое жизнеописание словами: «Когда я родился, мне было пять лет», а закончил фразой: «Там меня съел лев, там меня и похоронили».

Директора звали Адрианом Петровичем; его именины отмечались торжественно и благолепно. Ужасный наш батюшка, полковой священник в грохочущих сапогах, грубиян и человеконенавистник, укрощенно служил молебен. Потом к директору подходили ученики – по одному от класса – и вручали ему приветственные адреса, красиво написанные на ватмановских листах, с заголовками и бордюрами в русском стиле. Я тоже нарисовала какие-то ужасные – со страха испортить бумагу – фиоритуры и написала поздравление в стихах. Хоть и сочинялось оно от лица первого класса, начало его получилось несколько «личным»: «Как это слышать мне отрадно, Вы – Адриан, я – Ариадна». Забыла, что следовало за этой чушью, а жаль, наверное, было забавно… Директор прослезился, рывком приподнял меня так, что я пересчитала носом пуговицы его жилета, прижал к груди и воскликнул: «Не знаю, как пишет мать, но дочь – прямо Пушкин!»

Долго и незаслуженно дразнили меня после этого Пушкиным.

Приехав на несколько рождественских дней в Моравску Тшебову, родители сняли комнату в квартире, тихой и темной от заставленности полированной, в готических башенках, мебелью и завешенности плюшевыми с бомбошками занавесками и скатертями.

– Тебе нравится? – спросила Марина, только что выведшая меня из интернатской зоны.

– Очень! – от всей души ответила я.

– И напрасно. От всего этого задохнуться можно. Все –

подделка под что-то, и – под соседей. Добропорядочный трафарет. Немецкое мещанство. Пойдем-ка погуляем, пока папа у Богенгардтов!

Мы вышли. Было снежно и ясно. Посреди площади молчал фонтан пышного барокко. Отступя от него стояли, прижавшись к небольшой, но импозантной ратуше, как бы почтительно взяв ее под руки, дома, украшенные лепниной и подсахаренные снежком. После четырех месяцев безвыходного интерната городок показался мне раем. Я вертела головой, стараясь разглядеть все сразу и Марину, болтала о девочках, об уроках, о том, что хорошо кормят и хлеб даже остается; крепко держала Марину за руку, как маленькая. Она слушала, не перебивая и как бы грустно, и как бы издалека; изредка задавала короткие вопросы – вычесываю ли волосы частым гребнем? понимаю ли задачи с купцами, с поездами, с бассейнами? С кем дружу? Почему? А Чарскую – читаю? («Нет, конечно! Вы же не велели!»)

Да, она приглядывалась ко мне со стороны, вела счет моим словам и словечкам с чужих голосов, моим новым повадкам, всем инородностям, развязностям, вульгарностям, беглостям, пустяковостям, облепившим мой кораблик, впервые пущенный в самостоятельное плаванье. Да, я, дитя ее души, опора ее души, я, подлинностью своей заменявшая ей Сережу все годы его отсутствия; я, одаренная редчайшим из дарований – способностью любить ее так, как ей нужно было быть любимой; я, отроду понимавшая то, что знать не положено, знавшая то, чему не была обучена, слышавшая, как трава растет и как зреют в небе звезды, угадывавшая материнскую боль у самого ее истока; я, заполнявшая свои тетради ею – я, которою она исписывала свои («Были мы – помни об этом в будущем, верно лихом! я – твоим первым поэтом, ты – моим лучшим стихом»…) – я становилась обыкновенной девочкой.

Дальше, во время прогулки уже с Сережей:

– Да, конечно. Если бы тут родился Гете. Если бы жил, как в Веймаре. Или, хотя бы, остановился проездом. Тогда город обрел бы смысл – духовный смысл! – на века, вместе с этой вот ратушей, с этим фонтаном.

Что Гете без Веймара? – Все, т. е. весь Гете, с Вильгельмом Мейстером, Фаустом, даже Германом и Доротеей.

А – Веймар без Гёте? Германский городок для – ну, обитателей, обывателей…

– То, есть, город не написанных героев? – предполагает Сережа.

– Обыватель – не герой! – отрезает Марина. – Веймар без Гете – город Гаммельн; знаете? из легенды о Крысолове. Город,

ждущий Крысолова – на свою голову. Заслуживший его всем своим практическим, бездуховным бытием; своим провозглашением мещанства, как единственно возможной, единственно разумной формы бытия…

Так – исподволь – задумывался, затевался «Крысолов».

Маринина черновая тетрадь, вторая в Чехии – «Начата 10 нового мая 1923-го в День Вознесения, в Чехии, в Горних Мокропсах, – ровно в полдень. (Бьет на колокольне)».

Первая строка: «Время, я не поспеваю». Вторая – «Мера, я не умещаюсь». Варианты «Беженской мостовой»:

«Беженская мостовая:
Целый ад, разверстый под
Опрометями господ…
Время! я не поспеваю!»

И, следом, развитием темы времени – варианты стихотворения «Прокрасться»:

«А может, лучшая потеха —
Скрыть, будучи?
Перстами Баха
Органных не тревожить эхо?
Прокрасться, не оставив праха
На урну!»

И вновь – Сивилла, во времени – остановившаяся, но время же – грядущее! – прорицающая. Греция; Спарта:

«Здесь никто не сдается в плен,
Здесь от века еще не пели,
И не жаловались; взамен
Пасторалей и акварелей:
Травок, лужиц, овечек, дев —
Спарты мужественный рельеф».

И —

«Спарта жаркая: круть и сушь!
Спарта спертая: скоком конским
Здесь закон по уступам душ.
Каждый взращивает лисенка

Под полою…».

В семейном кругу.

Слева направо – Анастасия Цветаева, Сергей Эфрон, Марина Цветаева.

И еще и еще греческие, италийские, мифологические вспышки и сполохи, разбросанные по стихотворениям отсветы столь далекого классического костра!.. «Над ужаленною Федрой Взвился занавес, как гриф…», «Глазами заспанных Ариадн – Обманутых…», «Женою Лота насыпью застывшие столбы…», «Волчицы римской Взгляд, в выкормыше зрящей – Рим!», «Час Души – как час струны Давидовой сквозь сны Сауловы…», «Так Поликсена, узрев Ахилла Там, на валу…» И вновь и вновь: темы времени – Вечности и времени – «Минуты минущей»; всплески российской тоски; библейские вариации – и все пронизывающая Сивиллина, сибиллическая тема Рока…

Все это, нагнетаясь, накручиваясь, нарастая, требует выхода, осуществления и осмысления в просторе большого произведения, требует единого костяка крупной вещи, ее ограничительных, но

раскрепощающих и организующих законов.

В черновую тетрадь начинает – исподволь пока еще – внедряться Трагедия – среди колонн стихов, их нервных вертикалей – большими плоскостями прозы: предварительных планов пьесы «Ариадна»; «биографических» сведений о ее героях; их характеристик; готовится ложе античной трагедии для современного и вечного потока страстей и бед человеческих.

Стихи (у Марины всегда – монологи, всегда – безответные!), облеченные в плоть героев, наконец-то смогут обрести право на диалог…

Сквозь стихотворения и отдельные строки, строфы, написанные уже в осенней Праге, после переезда туда из деревни, просвечивает город, именно этот, неповторимый…

«Как бы дым твоих не горек труб,
глотать его – все нега!
Потому что ночью – город —
Опрокинутое небо…

– Аллеи последняя алость… – По набережным, где седые деревья… – Фонари, горящие газом Леденеющим… – Улицы не виноваты в ужасах Нашей души… – Прага, каменная поэма…» – и, наконец, встает во весь свой ночной рост «Пражским рыцарем»:

«Бледнолицый
Страж над плеском века,
Рыцарь, рыцарь,
Стерегущий реку…»

И от Рыцаря, от того моста над той Влтавой, ощупью черновиков, сквозь ожившую уже ткань первой картины «Ариадны» (мимо и наперекор ее путеводной нити, ведшей из лабиринта к свету), – к лабиринту великого отчаянья поэм «Конца» и «Горы», неотвратимо назревающих в недрах души и глубинах тетради.

Скоро они, поэмы эти, прорвут все плотины прочих творческих замыслов, подобно тому как чувство, их (поэмы) породившее, перемахнет через оплоты задуманного, положенного, возможного.

«Есть чувства, – писала Марина в те дни, – настолько серьезные, настоящие, большие, что не боятся ни стыда, ни кривотолков. Они знают, что они – только тень грядущих достоверностей».

Такими достоверностями и стали поэмы «Конца» и «Горы».

Разрыв между их героями произошел, судя по Марининой записи, 12 декабря 1923 года. Это не был обрыв «вообще отношений», начавшихся задолго до пражской осени 1923-го и длившихся до самого отъезда Марины в Советский Союз, а для героя Поэм[18], длящихся и по сей день, ибо он через всю свою жизнь, многотрудную и мужественную, пронес высокую, верную, самоотрешенную память о коротком и горестном счастье, осенившем его.

Я не взялась бы говорить о герое Поэм – не мое это дело и вообще ничье, ибо все, имевшее быть сказанным и обнародованным о нем и об их героине, сказано в Поэмах Мариной и ею же обнародовано – если бы не «кривотолки», те самые, «которых не боятся чувства», но от которых страдают люди, а вместе с ними – и истина.

Далеко не все Маринины корреспонденты и собеседники, мимолетные «друзья» и просто знакомые оказались впоследствии на высоте ее доверия или хотя бы на уровне элементарной воспитанности (как ее ни прививали им в детстве), публикуя на страницах зарубежной печати «воспоминания» о Цветаевой и ее близких, касаясь обстоятельств их жизни и поворотов их судьбы. Речь не о тех «воспоминателях», кого память подводит на старости лет – с кем не бывает! – и не о тех, кому недостает сердца или глубины – на нет и суда нет! – речь о небескорыстных сенсационерах, о недоброжелателях-обывателях, сводящих – всегда на расстоянии безнаказанности – посмертные или прижизненные личные или политические счеты; о дельцах от окололитературы, плодящих домыслы и вымыслы, калечащих факты в своих якобы «исследованиях творчества и биографии».

Герой Поэм был наделен редким даром обаяния, сочетавшим мужество с душевной грацией, ласковость – с ироничностью, отзывчивость – с небрежностью, увлеченность (увлекаемость) – с легкомыслием, юношеский эгоизм – с самоотверженностью, мягкость – со вспыльчивостью, и обаяние это «среди русской пражской грубо-бесцеремонной и праздноболтающей толпы» (определение, принадлежащее перу прекрасного человека – В. Ф. Булгакова, последнего секретаря Л. Н. Толстого и искреннего друга нашей семьи) – казалось не от века сего, что-то в обаянии этом было от недавно еще пленявшего Маринино воображение XVIII столетия – праздничное, беспечное, лукавое и вместе с тем, и прежде всего – рыцарственное…

Обаятельна была и внешность его, и повадки, и остроумие, легкость реплик и быстрота решений, обаятельна и сама тогдашняя молодость его, даже – мальчишество…

Обаяние лежало на поверхности – рукой подать! – хоть и шло изнутри, где все было куда более значительным, грустным и взрослым, даже – трагическим, ибо и эта жизнь, подобно жизни моих родителей, не хотела и не могла привиться к чужеродности эмиграции.

И – не привилась.

Герой Марининых поэм, коммунист, мужественный участник французского Сопротивления, выправил начальную и печальную нескладицу своей жизни, посвятив ее зрелые годы борьбе за правое дело, борьбе за мир, против фашизма.

Что еще сказать? Он, сквозь годы войн, германские лагеря уничтожения сберегший Маринины письма и автографы Поэм, прислал их в Россию, в цветаевский архив – с человеком, которого счел верным, т. е. неспособным нарушить тайны сугубо личной переписки, чтя память писавшей и волю адресата.

Он долго ждал этой верной оказии…

Вот передо мной его фотографии: лицо юноши; лицо бойца республиканской Испании; и – снимок прошлого, 1973, года; сколько лет прошло! сколько – эпох! «Но глаза – глаза твои я вижу: те же…»

Нет, годы не властны над обаянием; не властны они и над благородной памятью сердца; и над мужеством.

Еще скажу, что Сережа любил его, как брата.

Я только что упомянула последнего секретаря Льва Толстого и биографа его – Валентина Федоровича Булгакова. В те годы он был одним из организаторов и председателем «Союза русских писателей» в Чехии и вместе с проф. С. В. Завадским (председателем «Комитета по улучшению быта русских писателей в Чехословакии») и Мариной был избран в состав редакционной коллегии затевавшегося в Праге и ее предместьях альманаха «Ковчег».

Название это было предложено Мариной («семь пар чистых и семижды семь пар нечистых» – и все оказавшиеся литераторами, прибившимися в утлом суденышке к берегам Влтавы!).

Альманах затевался долго, сколачивался трудно – буквально годами, – и у Валентина Федоровича было предостаточно времени, чтобы сблизиться – сперва на почве совместной работы, потом на правах приятельских – с Мариной и с Сережей (Сережа, автор небольшой книги рассказов «Детство», вышедшей в Москве до революции, стал членом правления «Союза русских писателей»).

Валентин Федорович диссонировал с окружавшей его средой не меньше, чем сама Марина, но – иначе, наоборот ей: в эмигрантском ковчеге она была несомненным змием, а он –

несомненным голубем, исповедовавшим закон «смиренномудрия, терпения и любви» по Ефрему Сирину и отчасти по Л. Н. Толстому. И внешность его была «голубиная», благолепная, и жил он со своей маленькой семьей в простым глазом видимых благолепии, чистоте и вегетарианстве, в кажущемся душевном благополучии, и все это, вместе взятое, вызывало у некоторых из окружающих – навоевавшихся, намаявшихся и маяться продолжавших – ироническую ухмылку наряду с бесспорным уважением. «Толстовство! Вегетарианство! Непротивление злу!» Как говорится, «мне бы ваши заботы»! И охотно нагружали его заботами своими собственными.

Однако некоторая «пастельность» облика Валентина Федоровича скрывала душу отнюдь не вегетарианствующую, ум острый, проницательный, широкоохватный, далеко не догматического склада, что, в частности, и позволило ему сблизиться с моими родителями, понять и полюбить их.

Особо стоит упомянуть о его, по тем, полувековой давности, временам, исключительной восприимчивости к Мариниому творчеству «сложного периода», невнятному огромному большинству ее зарубежных современников. Вспоминая о совместной работе над «Ковчегом», Булгаков пишет: «Сама Марина Ивановна дала для сборника большую «Поэму Конца». Этой не помогла бы никакая анонимность. Необыкновенно сжатый, своеобразно-четкий, образный и звучный, чтоб не сказать щелкающий, стих Марины Цветаевой можно узнать за тысячу верст, даже и без надписи: «се – лев, а не собака»… Нас, редакторов сборника, очень ругали потом за помещение в нем «Поэмы Конца», но я все же и тогда был, и теперь[19] остаюсь при мнении, что поэма эта, как и все, что писала вдохновенная Марина, вещь – замечательная. Но только в данном случае надо иметь уши, чтобы слышать».

У Валентина Федоровича были и глаза, чтобы видеть: набросанный им портрет Марины энергичен и точен: «… Глаза были большие, острые и смелые, «соколиные»… ни кровинки в лице, ни румянца. Так странно и… жалко! Головка посажена на шее гордо, и так же гордо, и быстро, и энергично обращалась – направо, налево. Походка и все движения Марины Ивановны вообще были быстры и решительны… Плачущей и даже только унывающей я ее никогда не видал. Подчас она все же грустила, жаловалась на судьбу, например – на разлуку с Россией, на переобременение хозяйством и домашними делами, отвлекающими от литературной работы, но жалобы и сетования ее, – вообще редкие, – никогда не звучали жалобно и жалко; напротив, всегда гордо, и я бы даже сказал – вызывающе:

вызывающе – по отношению к судьбе и к людям.

Среди не просто бедной, а буквально нищенской обстановки своей квартиры Марина Ивановна, с ее бледным лицом и гордо поднятой головой, передвигалась, как королева: спокойная и уверенная в себе…»

В последующие годы, когда большинство эмигрантов перебазировалось в другие страны – в основном во Францию, Валентин Федорович, с женой и двумя дочерьми, остался в Чехословакии. Много сил и труда вложил он там в создание Русского культурно-исторического музея, для которого собирал «доброхотные даяния» – материалы, рукописи, произведения искусства, вывезенные из России или создававшиеся русскими за рубежом. Средств на приобретение этих ценностей никто не отпускал, ибо ценностями они тогда не почитались…

От Марины Валентин Федорович получил типографские оттиски и рукописные списки многих ее произведений и – легкую бамбуковую ручку, которой она писала около десяти лет. Еще она передала ему, сняв с пальца, любимое свое серебряное кольцо-печатку, когда-то украшенное вырезанным на нем корабликом – столь памятное всем, знавшим Марину, и с ней неразлучное. Тогда – году в 1936–37, когда Булгаков приезжал в Париж за материалами для своего музея и в последний раз встретился с моими родителями, старинное кольцо состарилось окончательно. Изящный рисунок парусника и надпись, обрамлявшая его «тебе моя симпатия», – стерлись, ободок истончился почти до прозрачности. – Много поработала рука, носившая этот перстень!

Булгаковский музей просуществовал недолго. Вскоре гитлеровское нашествие на Чехословакию изменило «мирный ход вещей» и судьбы членов булгаковской семьи, ставших участниками героического чешского Сопротивления. От непротивления злу к сопротивлению ему пролег жизненный путь Валентина Федоровича и его близких.

«Когда я был освобожден советскими войсками из фашистского концлагеря и добрался до Музея, – рассказывал он мне впоследствии, – советские солдаты грузили на машину остатки разграбленного немцами: переполовиненные папки, кипы растрепанных книг, связки разрозненных бумаг. То, что хотя бы это отправлялось в Россию и уцелеет, меня несколько утешило; но все остальное, очевидно пропавшее безвозвратно!.. Что на свете беспомощнее и уязвимее творений ума и рук человеческих! – Вид опустевших комнат, опустошенных шкафов, разбитых витрин был так нестерпимо печален, что я не смог удержаться от слез – впервые за все время испытаний.

Марина Цветаева с сыном Георгием – Муром. 1928 г.

Я стал шарить по полу, перебирать хлам и мусор, обрывки и осколки. И вдруг в углу, за дверью, в пыли – ручка Марины Ивановны! ее кольцо!

Это – было – чудо».

После войны Булгаковы вернулись в СССР – в Ясную Поляну, где Валентин Федорович жил и работал до конца своих дней. Маринину ручку, ее кольцо он привез с собой и долго и верно хранил, как память о ней, о своем музее, о том чуде… Потом, почувствовав груз прожитых и пережитых лет, поняв свою недолговечность на земле, передал эти реликвии мне, разыскав меня через Эренбурга.

Теперь тот же груз давит и на мои плечи, поэтому ручку, которой были написаны поэмы «Конца» и «Горы», «Крысолов», «Ариадна», «Федра», и кольцо с руки, написавшей не только их, но многое, многое другое, я, в свою очередь, передала в ЦГАЛИ, где, в конце концов, обрели надежное пристанище и вывезенные когда-то в Россию из булгаковского музея рукописные остатки хранившихся там материалов.

У вещей, как и у книг, как и у людей! – своя судьба.

Маринина пражская осень 1923 и зима 1923/24 годов, насыщенные работой, встречами, знакомствами (дружбами, неприязнями, так часто впоследствии менявшимися местами!), – прогулки по вечерней и ночной (утрами – писала) Праге, постепенное вживание в этот город, который так – из всех – полюбился ей; ее увлеченность пражской легендой о Големе; зачарованность статуей Рыцаря на мосту, его тайным с собою сходством – профиль, волосы, осанка – как бы встреча с памятником, воздвигнутым тебе задолго до твоего рождения, с овеществленным провидением, предвосхищением тебя – идущей мимо…

Вживание в город, только что написала я, – и тут же осеклась: неправда! Вот этого-то как раз и не было: была как бы примерка города к себе и себя – к городу, с чувством: вот тут бы я хотела жить, могла бы жить, если бы…

Если бы – что?

По всем своим городам и пригородам (не об оставленной России говорю) – Марина прошла инкогнито, твеновским нищим принцем, не узнанная и не признанная ни Берлином, ни Прагой, ни Парижем (у которых она в моде сейчас…).

Если бы она была (а не слыла!) эмигранткой, то как-нибудь, авось да небось, притулилась бы на чужбине, среди «своих».

Если бы она была просто женой своего мужа и матерью своих детей, то не все ли равно, в конце концов, – где, лишь бы вместе?

Если бы она была «поэтом-трансплантатом», как иные прочие, то богемные кафе богемных кварталов послужили бы ей убежищем…

Если бы она не была собой! Но собой она была всегда.

Цельность ее характера, целостность ее человеческой

личности была замешена на противоречиях; ей была присуща двоякость (но отнюдь не двойственность) восприятия и самовыражения; чувств (из жарчайшей глубины души) и – взгляда на (чувства же, людей, события), взгляда до такой степени со стороны, что – как бы с иной планеты.

Поразительная памятливость была в ней равна способности к забвению; детская изменчивость равнялась высокой верности, замкнутость – доверчивости, распахнутости; в радость каждой встречи сама закладывала зерно разлуки; и в золе каждой разлуки готова была раздуть уголек для нового костра. Такое бескорыстие в любви – и такая ревность к пеплу сгоревшего… Такое «диссонирующее» равновесие бездн и вершин, такое взаимопритяжение миров и антимиров в ее внутренней вселенной…

И еще: способность постигать сегодняшний день главным образом через и сквозь прошедший (день, век, тысячелетие), всем болевым опытом былого поверяя гадательное грядущее…

В Праге Марина познакомилась – и увлеченно, хоть и непрочно, подружилась с писателем Алексеем Ремизовым и его женой Серафимой Павловной, ученым-палеонтологом. Серафима Павловна была женщиной, что называется, видной, высокого роста, уже и тогда страдавшей чрезмерной полнотой, и он – маленький, худенький, в больших очках с выпуклыми стеклами, преувеличивавших тревожность его близорукого взгляда, – издалека мог показаться ее несмелым подростком-сыном.

Любили они друг друга очень, всегда были неразлучны – вплоть до ее смерти, всегда, всюду и во всем вместе. Она была его оплотом, поводырем, его надежностью, и с жизнью ее до встречи с ним он сроднился больше, чем со своею собственной: детству и юности своей жены он посвятил не одно произведение.

Ремизов был великим знатоком и ревнителем древнерусской литературы и истории, славянский язык стал для него языком настолько живым и родным, что и письма друзьям он писал уставом и полууставом, виртуозно украшая их буквицами, «финиками» и росчерками, и речь свою уснащал древнецерковными оборотами, и шутил и скоморошествовал, как во время оно, и творчество свое насыщал притчами, древними актами и седой стариной до того, что от затейливой вязи этой начинало мельтешить в глазах.

Через некоторое время зарябило в глазах и зазвенело в ушах и у Марины; узорчатая, лукавая ремизовская мелкопись, почуялось ей, не только не выводила на простор, но, наоборот, уводила от любой попытки простора – по замкнутому до головокружения кругу старины.

Но почуялось это только впоследствии, во Франции, где Ремизов – покуда Серафима Павловна преподаваласвою палеонтологию студентам и вела дом – постепенно превращался в собственного своего полусказочного героя, в некую помесь юродствующего инока-летописца с лесной шишигой, окружал себя игрушками с чертовщинкой, которые изобретал и мастерил сам из сучков, пробок, катушек, рыбьих костей и прочей ерунды. Чту в этом было наигрышем, чту – розыгрышем, чту – правдой, чту – причудливой скорлупкой, в которой скрывался он от жизни, чту – самой жизнью, вряд ли заслуживавшей этого – полноценного – названия?

…Пока же Марина только радовалась его своеобычности и тому, что он никогда не говорил о политике, так же, как Серафима Павловна – о палеонтологии.

Еще Марина сблизилась с несколькими, по-разному милыми ей людьми в редакции журнала «Воля России», журнала, в котором были опубликованы многие ее произведения – стихотворения, поэмы, пьесы, проза, в том числе и «трудные», и «сложные». Редколлегию не пугала Маринина внеполитичность, политическое направление журнала Марину не интересовало, широта же его литературного гостеприимства поддерживала и радовала. За все годы эмиграции это был единственный печатный орган, представлявший, в течение всего своего многолетнего существования, свои страницы Мариниому творчеству – с уважением к нему, а не «из милости», и (почти) безоговорочно; насколько помню, только цветаевская статья – апология советской детской литературы («О новой русской детской книжке») была помещена в журнале с «оговоркой» редакции, в дискуссионном порядке.

Один из редакторов журнала, плотный, подвижный, шумный, ярко-черноглазый Владимир Иванович Лебедев, из курчавой разбойничьей бороды которого то и дело вылетали, взрываясь и перегоняя друг друга, гневные фразы, раскаты смеха, вопросы – только в лоб, ответы – без обиняков, а зачастую – просто озорные бестактности, познакомил нашу семью со своей; жена его, Маргарита Николаевна, тишиной своей и гармоничностью являла полную противоположность мужу, которого как бы утихомиривала и уравновешивала и сущностью своей, и внешностью. Правильные, твердые черты ее лица смягчались той неуловимой бархатистостью женственности, зримо передавать которую лучше всего умели мастера итальянского Возрождения в ликах их строгих и кротких Мадонн. Но эта Мадонна – из обрусевшей баронской семьи – в юности была бесстрашной революционеркой, участвовала в Кронштадтском, Свеаборгском и

Севастопольском восстаниях, подвергалась полицейским репрессиям… в 1908 году она эмигрировала в Швейцарию, где окончила медицинский факультет. В эмиграции вышла замуж за Владимира Ивановича, своего товарища по борьбе; в Женеве родилась их первая дочь, рано умершая, потом вторая, Ирина (ставшая моей подругой с первого – детского! – взгляда и на всю жизнь).

Поначалу и безапелляционная громогласность Владимира Ивановича, и неисчерпаемая тишина Маргариты Николаевны насторожили Марину, сгоряча она приняла их за крайние проявления ненавидимого ею душевного комфорта, а налаженный, размеренный уклад и обиход лебедевского дома – по контрасту к общеэмигрантским и собственным своим бытовым неустройствам – за «богатство», невыносимое ей, невзирая на «Хвалу богатым».

Но богатство этих людей заключалось отнюдь не в материальной обеспеченности, а до душевного благополучия им было так же далеко, как и самой Марине. В чем она скоро убедилась, и разубедиться в человеческом качестве этих друзей ей не пришлось никогда.

Дружб у Марины было много, но все они, по крайней мере те, что на моей памяти, оказывались с помарками, помехами, оговорками, разминовениями, взаимными или односторонними разочарованиями, превозмогаемыми или непоправимыми обидами.

Кроме дружбы с Лебедевыми – единственной по высоте, глубине, простоте, верности и протяженности.

В их доме никогда не уставали от Мариниых бед, нужды, неурядиц, никогда не отстранялись от ее неподъемного таланта и неподъемного характера, всегда радовались ей. Это был единственный дом, от которого Марине был доверен ключ – не какой-нибудь там аллегорический, нет, тот самый железный, которым и в отсутствие хозяев можно открыть дверь их квартиры, войти, расположиться, как у себя – лучше, просторнее, спокойнее, чем у себя, – отдохнуть – от себя же.

Дружба эта не только длилась без спадов, путь ее шел в гору и достиг наивысшей, дозволенной жизнью, точки в самые тяжелые, самые затравленные эмиграцией годы, непосредственно предшествовавшие Мариниому возвращению на родину.

««Были и не застали. Зайдем к 7 $^{1}/_{2}$ ч. Свидание с Кубкой[20] (поэтом) налажено». – Записка Ходасевичу, тогда приехавшему с Горьким в Прагу, и с которым, из-за «большевизма» (Горького!), никто из русских не общался».

За этими строчками в тетради 1938 года, в которую Марина,

готовясь к отъезду в СССР, перебеливала выписки из оставляемой ею за границей части своего архива (погибшей в войну), – история ее мимолетной пражской встречи с поэтом В. Ф. Ходасевичем – и невстречи с Горьким.

Горький, направлявшийся на лечение в Мариенбад, приехал в Прагу в конце ноября 1923 года; в прибывшей с ним небольшой группе близких и друзей был и Ходасевич, знакомый с Мариной в дореволюционные еще годы. По адресу, переданному ему Пастернаком (который, как и Марина, высоко ценил творчество Ходасевича), – В. Ф. послал ей письмо с просьбой о встрече и о содействии ему в знакомстве с чешскими литераторами и поэтами.

Подумывавший о том, чтобы обосноваться в Праге – но отнюдь не на правах «рядового», т. е. бедствующего, эмигранта, – Ходасевич искал связей, которые помогли бы ему обрести устойчивое и независимое положение среди коренной интеллигенции страны, о которой он мало что знал…

С присущей ей быстротой Марина откликнулась на зов, хотя собственные ее связи с чехами нельзя было причислить к солидным. Она обратилась к милой ей женщине, петербургским своим воспитанием и образованием сыздавна связанной с Россией, – Анне Антоновне Тесковой, общественной деятельнице прогрессивных взглядов, председательнице культурно-благотворительной «Чешско-русской едноты». Однако русская, сиречь белоэмигрантская часть «Едноты» воспротивилась проекту устройства вечера, на котором Ходасевич выступил бы с чтением своих стихотворений. «Раз с Горьким приехал – значит, сам большевик», – твердили твердолобые…

Чешская же, основная, сторона мялась и жалась, понимая, что в первую очередь следовало бы организовать вечер самого Горького, или – в его честь, но как быть с эмигрантской стороной? Горький-то уедет, а раздор в собственных рядах – останется.

Пока длилась возня, путаница и словопрения на двух языках, Марина с Сережей наладили свидание Ходасевича с чешским поэтом и литератором Франтишком Кубкой. Встреча эта оказалась беспоследственной – не понравился Ходасевич Кубке, не «показался»…

А Марине – понравился; может быть из духа противоречия; может быть из духа высокого собратства, осенившего их в тот вечер – за чашкой кофе в кафе гостиницы Беранек.

В дальнейшем, уже во Франции, они не ладили, более того – враждовали, и только в последние годы Мариниого пребывания на Западе нашли общий язык, родной им обоим язык поэзии…

Марина рассказывала, что тогда, в Праге, Ходасевич не

просто предлагал познакомить ее с Горьким, которого очень любил, но – рвался сделать это, благо до Горького, остановившегося в той же гостинице, было буквально рукой подать. Марина, однако, отказалась – по тому же сложному чувству внутреннего запрета, которое когда-то заставило ее раствориться в толпе, окружившей Блока на последнем его выступлении в Москве, запрета, не позволившего просто подойти, просто познакомиться. («Гордость и робость – родные сестры…» – писала она в стихотворении 1921 года.)

А тут еще – граница ее эмиграции, пролегшая между ней и Горьким. Как с этим навязываться?

Через несколько дней Горький отбыл в Мариенбад вместе со своими спутниками, Марина же «занесла на скрижали» еще одну, горькую ей, невстречу.

Два письма Цветаевой к Горькому (благодарность ему за приглашение ее сестры Анастасии Ивановны погостить у него в Сорренто) известны, они были опубликованы по сохранившимся черновикам 1927 года в четвертом номере журнала «Новый мир» за 1969 год.

Но вот история еще одного Мариниого письма и горьковского ответа на него (сами письма не уцелели).

В самом конце двадцатых годов или в начале тридцатых, во Франции, с одним из наших знакомых произошел удивительный случай. Знакомый этот, по призванию и образованию – музыковед, был эрудированным знатоком, любителем и потребителем искусства во всех его ипостасях («…если бы ты видел «морду» – широкую, умную, бритую, барскую – лицо «Воскресенья» из «Человека, который был Четвергом»[21] – с которой NN просил у меня твой адрес!» – писала о нем Марина Пастернаку в 1927 году) – и обладателем приятного голоса; силу, красоту и диапазон его выявил случай.

В тот день наш знакомый гулял – вернее, по характеру своему, фланировал по запущенной, дичающей части Версальского парка, любовался расстилавшейся вдали «регулярной» его частью и пел любимые арии из любимых опер, во всю мощь, так, как поется только на просторе, когда сам никому не мешаешь и тебе – никто.

Как в старинной сказке – или современном музыкальном фильме, – из зарослей на голос вышел некто, оказавшийся, по законам жанра, то ли знаменитым по тем временам антрепренером, то ли самим директором самой Миланской оперы; подошел, представился, изумился, узнав, что приманивший его голос – голос-чудо, голос-сокровище – принадлежит отнюдь не профессионалу. После нескольких

встреч, нескольких придирчивых прослушиваний (впрочем, и придираться-то было не к чему: голос, богом данный и от природы поставленный, нуждался лишь в небольшой шлифовке) итальянец предложил эмигранту приехать в Милан для «доработки» голоса у педагога вокалиста, после чего гарантировал дебют в «Ла Скала» и карьеру трансконтинентального масштаба.

Все слагаемые чуда были налицо, за исключением суммы денег, потребной на доангажементный период – поездку в Милан, проживание там, оплату занятий с вокалистом.

Забегали, в поисках средств, немногочисленные близкие и друзья – безрезультатно забегали: кризис и безработица отменили заработки, опустошили кошельки и карманы. На хлеб не хватает, а тут – блажь, голос какой-то…

Тогда Марина написала Горькому.

Алексей Максимович отозвался – быстро, деловито, весело; прислал для будущего певца чек на пять тысяч франков (сумму немалую) с просьбой не разглашать имени дающего; выразил надежду на то, что – зазвучит голос и достигнет России; поблагодарил Марину за оказанное ему, Горькому, доверие: он рад помочь таланту, ибо талант – это отлично! ибо человеческим талантом сама жизнь жива! Письмо было написано уважительным к читающему, отчетливейшим горьковским почерком, черными чернилами на небольшом, аккуратном листке плотной белой бумаги…

…Увы, наш знакомый так и не стал певцом. Непреоборимый нервный спазм, хвативший его за глотку на публичных выступлениях (и ничем не проявлявший себя на занятиях, репетициях и просмотрах), сорвал в Миланской опере сенсационный дебют – и все на свете ангажементы.

Единственным голосом, действительно прозвучавшим в этой несбывшейся сказке, оказался тихий, глуховатый и такой сердечный голос самого Алексея Максимовича…

На летние каникулы 1924 года я приехала – из Моравской Тшебовы – самостоятельно, посаженная в поезд Богенгардтами и встреченная на пражском вокзале папой. Привезла с собой зубную щетку, тощий и поглупевший дневник, переэкзаменовку по арифметике и (наследственное!) затемнение в легком. Последнее окончательно утвердило Марину в убеждении, что среднее образование девочкам не на пользу, а некоторым избранным натурам даже и во вред.

И вновь наша семья перебралась за город, и возобновилось наше кочевье по знакомым деревням – Иловищам, Мокропсам, Вшенорам.

Как всегда, Марина много работала, но больше, чем всегда, – по контрасту с Прагой, – уставала и раздражалась от быта и вечных его нескладиц и несуразностей; тосковала о твердой почве под ногами – после недавнего асфальта особенно тяготила грязь, в которую под дождями превращались деревенские тропки и дорожки. Один из отдаленных уголков очередной деревни, в который мы забрались, так и был прозван знакомыми: «эфроновские грязи». Стараясь, по своему разумению, «помочь родителям», я решила экономить обувь: уходя в лес за ягодами и грибами, прятала сандалии под мостиком за околицей; обувалась на обратном пути. Подобно многим прочим моим разумным затеям, экономия вышла боком: однажды грянула гроза, пыльная канавка под мостиком превратилась в русло внезапно возникшего потока, умчавшего злополучные сандалии в Бероунку, а может быть и в самое Влтаву. Как ни скулила я на берегу, сандалии не вернулись. Пришлось покупать новые. Было мне на орехи.

Как думается теперь, эмигрантское деревенское житье-бытье еще хранило в себе черты тогда недавнего для многих дачного дореволюционного обихода. Ходили друг к другу в гости: званые или – как снег на голову; справляли бесконечные именины; устраивали неторопливые совместные прогулки, пикники; любительские спектакли, вечеринки, детские праздники и литературные чтения.

Во Вшенорах, наискосок от лавки пана Балоуна стояла красивая «Вилла Боженка», большая, вместительная дача; ее снимали пополам многодетная семья писателя Е. Н. Чирикова (все его дети были взрослые) – и вдова Леонида Андреева, Анна Ильинична, с Ниной, молодой, красивой дочерью от первого ее брака, и с тремя детьми-подростками от брака с Андреевым: Верой, Саввой и Валентином.

Странная это была женщина – гнетущая какая-то; невзирая на всю ее легкость на подъем, быстроту и непосредственность реакций, движений, решений, суждений; несмотря на яркую внешность, жаркую черноокость и кажущуюся простоту. Покойного мужа любила она без памяти – продолжала любить даже с вызовом, как бы стремясь защитить его, за него поспорить и отстоять… от кого?

За границу она вывезла не только рукописный его архив, но и пуды его попутных увлечений; сделанные им снимки, написанные им картины, какие-то мудреные инструменты, приборы и приспособления, – и все это хранила, охраняла – ревниво и ревностно.

Марину она равно и привлекала и отшатывала; ею можно было любоваться, а вот любить, пожалуй, невозможно; что-то

нечеловеческое в ней было. Или – казалось.

Детям ее с ней было нелегко.

В большой – громадной – всеми громадными окнами глядевшей в сад комнате Анны Ильиничны иногда собирались литературные «посиделки» – одни читали, другие слушали. В одну из памятных андреевских дат она устроила чтение неопубликованной, никому тогда не известной пьесы мужа – «Самсон в оковах».

Читать должен был зорко ею высмотренный и ею же на слух проверенный актер А. Брэй, одаренный, острого ума человек, рыжий, как лис, и хромой, как Байрон; рукопись пьесы была ему вручена заблаговременно, чтобы он успел всерьез подготовиться…

Как сейчас вижу: единственное световое пятно – лампа с классическим зеленым абажуром на столе; у стола – кресло для чтеца; подпирая стенки, как на Петровских ассамблеях, – слушатели в умильно-напряженных позах. В полумраке нехорошим темным огнем горят великолепные глаза (очи!) Анны Ильиничны.

Брэя нет как нет. Опаздывает? Или забыл? И вообще – что-то будет? Наконец, когда всем уже решительно невтерпеж и хочется чесаться и даже кусаться, – влетает, наигранно-непринужденно, изящно раскланиваясь и извиняясь на ходу – чтец. Коллективный вздох облегчения.

Брэй садится в кресло, откашливается, наливает воду из графина, пьет, снова откашливается, бережно достает из потрепанного портфеля рукопись, оглаживает ее, пристраивается поудобнее – Анна Ильинична следит за ним пристальным тигриным взглядом – и – нарастающий, бархатно-громкий, актерский голос:

– Леонид Андреев. Самсон в окопах.

На чириковской половине жилось добродушно, естественно, без гнета, хотя, как в каждой большой и очень дружной семье, были и трения, и неполадки, и страдания. И тоска.

Тоска жила в комнатке Евгения Николаевича, воплощенная и воплощаемая им – нет, не в рукописях: в деревянных моделька волжских пароходов, которые он сооружал на верстаке у окошка, глядевшего в самую гущу сада. Комната была населена пароходами – маленькими и чуть побольше, баржами – коломенками, тихвинками, шитиками, гусянками; челнами и косными… Тесно было волжанину во Вшенорах, мелководно на Бероунке!

Дружить со всей чириковской семьей Марине было несподручно – очень уж велика и разновозрастна была семья!

Появлялись у нас в розницу то Людмила (вскоре уехавшая), то Валентина, то – старики. В честь Евгения Николаевича Марина даже пироги пекла, что было ей совсем не свойственно; Чириков, смеясь, называл их «цыганскими пирогами на кофейной гуще» и ел с аппетитом, жена его, Валентина Георгиевна, вежливо спрашивала – «как вы это готовите?» – и недоверчиво отщипывала кусочек…

…Добрая память детских лет хранит только добро, детские глаза выбирают из окружающего красоту, детские уши чутки к «интересному», смешному, забавному. Моя Чехия была порой моего детства, порой моего – на всю жизнь – простора, и весело вспоминается мне.

А как было у взрослых? Каково было им?

Ранней весной 1924 года мой отец пишет сестре в Москву:

«…В Праге мне плохо. Живу здесь, как под колпаком. Из русских знаю очень многих, но мало к кому тянет. А вообще к людям очень тянет. И в Россию страшно как тянет.

Как скоро, думаешь, можно мне будет вернуться? Не в смысле безопасности, а в смысле моральной возможности? Я готов ждать еще два года. Боюсь, дальше сил не хватит…»

Осенью того же года, ей же: «Самое тяжелое в моих письмах к тебе, это – необходимость писать о своей жизни. А она так мне мерзка, что рука каждый раз останавливается «на этом самом месте»… Если бы рухнула стена, нас с тобой разделяющая! Господи!

Но не писать о себе, значит, ничего не писать…

Эту зиму я не переезжаю в город. Живем в ложбине, окруженной горами и лесом. Из окна вид на уже покрасневший холм и на небо, синее по-южному. Стоит бабье лето. По ночам уже морозит, днем жара.

Каждый день езжу на занятия в город, который отсюда в двадцати верстах.

С ужасом ожидаю наступления зимы.

Двадцать пятый год сулит трудности. Разрываюсь между университетом и необходимостью немедленного заработка. Возможно, что заработка ради придется перебраться в Париж – там хоть какие-то шансы на работу, здесь – никаких. Нас, русских, слишком много. Значит, бросать университет. Меня это не очень огорчает, ибо – не все ли равно? Но, знай я это раньше, иначе бы построил свою жизнь.

…Я сейчас занят редактированием небольшого журнала, литературно-критического[22]. Мне бы очень хотелось получить что-нибудь из России – о театре, о последних прозаиках и поэтах, о научной жизни.

Если власти ничего не будут иметь против, попроси тех, кто мог бы дать материал в этих областях, прислать его по моему адресу. Очень хотелось бы иметь статьи – или хотя бы заметки о Студии[23], Камерном театре, Мейерхольде. С радостью редакция приняла бы и стихи и прозу…

Поговори с Максом[24], с Антокольским – может, они дадут что-нибудь? Сообщи мне немедленно, могу ли я чего-либо ждать?

…Мне никто не пишет. У меня чувство, что все москвичи меня забыли. Я знаю, что меж нами лежат годы, разделяющие больше, чем тысячи и тысячи верст. Знаю, что сам виноват; Но все же – больно.

Пиши, Лиленька! Твои письма – единственная реальная связь и с Россией, и с прошлым, а может быть – и с будущим…»

Рассеянное по Марининым тетрадям – среди черноты черновиков и белизны беловиков, записей о переездах:

Июнь 1924 года в Иловищах (там, по остывшим следам, дописывается «Поэма Конца»: «А конец во мне – куда раньше! Начав, как вздох, дописывала как долг!»).

Июль в Дольних Мокропсах («переехали из Иловищ в Д. Мокропсы в разваленный домик с огромной русской печью, кривыми потолками, кривыми стенами и кривым полом, – во дворе огромной (бывшей) экономии. Огромный сарай – который хозяйка мечтает сдать каким-нибудь русским «штудентам», сад с каменной загородкой над самым полотном железной дороги. – Поезда.

III картину «Ариадны» начинаю 21 июля 1924 года. Дай Бог – и дайте боги!»).

Август – другое жилье в тех же Мокропсах («паром через реку. Крохотный каменный дом; стены в полтора аршина толщины. Неустанно пишу «Тезея»[25]. Много отдельных строк, пока отстраняемых…»).

Сентябрь (и до самого конца пребывания в Чехии) – Вшеноры («Переезд во Вшеноры – везет деревенский сумасшедший, которого мы по дороге опаиваем пивом и одуряем папиросой (! не курящего! – а три дня до этого вязание, из которого ничего не вышло…»).

Строки: «Все важнее, все нужнее, все непреложнее – меня!»

«Уметь умереть, пока не поздно».

«Этой жизни – местность и тесность».

«Рваный платок на худом плече».

«Не иметь права терять (нищета). Ничто не твое. Ни копейки».

«Душа не может быть заполнена никем и ничем, ибо она не сосуд, а – содержимое».

«Призраки вызываются нашей тоской. Иначе они не смеют. Дотоскуйтесь до отчаяния, и они станут полновластными хозяевами ваших дней…»

«Слезы: непроливающиеся, в счет не идущие».

«Как билась в своем плену
От скрученности и скрюченности…
И к имени моему
Марина – прибавьте: мученица».

Редко, потаенно прорывается иное: восходящее, боящееся сглазу; оно едва приметно; вот разве что вязание, только что бегло упомянутое.

Марина вяжет шаль, хотя ничего еще не видно; при ее подтянутости – все еще незаметно. Она вяжет, переупрямливая свою неспособность к рукоделию. Вяжет, и свяжет, и не одну, вколдовываясь в тысячелетиями проверенную, творящую, успокоительную занятость женских рук, оправдывающую досуг мысли, возможность тайного, глухонемого диалога с незримым, но уже сущим.

Тетради – другое: тетради – сплошной недосуг, сплошь труд и долг, сплошь мысль – изреченная, вдохновение – втиснутое в непреложную форму, чувство – названное; тетрадь – гласность, если не нынешняя, так грядущая. Уже рассекреченность.

И в тетрадях этих месяцев – стихи, письма, замыслы – и «Тезей», «Тезей» («Ариадна») – со всеми ответвлениями, взблесками Федры и неосуществившейся Елены, со всеми вариациями темы Рока. В тетради – все, как всегда, только:

Женщина, что у тебя под шалью?

– Будущее! —

и еще, начатое и суеверно отложенное, в четыре незавершенных строфы, стихотворение:

…Над колыбелью твоею нищей
Многое, многое с Бога взыщем…

Восходит и сбывается то, о чем Марина писала Сереже в том, с Эренбургом из Москвы посланном письме: «Не горюйте о нашей Ирине. Вы ее совсем не знали, подумайте, что это Вам приснилось, не вините в бессердечье, я просто не хочу Вашей боли, – всю беру на себя! – У нас будет сын, я знаю, что это будет…»

Только потом, когда «тайное становится явным», она

начинает об этом говорить вслух, к этому зримо готовиться, советоваться с врачами, собирать, по знакомым, «приданое» – вещи уже подрастающих детей. И в тетрадях появляются открытые записи. Вот одна из них – характерная и характерная: «…У Али восхитительная деликатность – называть моего будущего сына: «Ваш сын», а не – «мой брат», этим указывая его принадлежность, его – местоположение в жизни, обезоруживая, предвосхищая и предотвращая мою материнскую ревность…»

И наконец – ликующие строки, даже страницы чистейшей радости, светлейшей благодарности, просто – счастья:

«Сын мой Георгий родился 1 февраля 1925 года, в воскресенье, в полдень, в снежный вихрь. В самую секунду его рождения на полу возле кровати разгорелся спирт, и он предстал во взрыве синего пламени… Спас жизнь ему и мне Г. И. Альтшуллер, ныне, 12-го, держащий свой последний экзамен. Доктор Григорий Исаакович Альтшуллер, тогда студент-медик пражского университета, сын врача, лечившего Л. Н. Толстого.

Накануне, 31 января, мы с Алей были у зубного врача в Ржевницах. Народу – полная приемная, ждать не хотелось, пошли гулять и добрели почти до Карлова Тына. Пошли обратно в Ржевницы, потом, не дожидаясь поезда, рекой и лугами – во Вшеноры.

Вечером были с Сережей у А. И. Андреевой, смотрели старинные иконы (цветные фотографии), вернувшись домой, около 2 часов еще читала в постели Диккенса: Давид Копперфильд.

Мальчик дал о себе знать в 8 1/2 утра. Сначала я не поняла – не поверила – вскоре убедилась, и на все увещевания «все сделать, чтобы ехать в Прагу» не соглашалась… Началась безумная гонка Сережи по Вшенорам и Мокропсам. Вскоре комната моя переполнилась женщинами и стала неузнаваемой. Чириковская няня вымыла пол, все лишнее (т. е. всю комнату!) вынесли, облекли меня в андреевскую ночную рубашку, кровать – выдвинули на середину, пол вокруг залили спиртом. (Он-то и вспыхнул – в нужную секунду!) Движение отчасти меня отвлекало…

В 10 ч. 30 мин. прибыл Г. И. Альтшуллер, а в 12 ч, родился Георгий…

Да, что – мальчик, узнала от В. Г. Чириковой, присутствовавшей при рождении. – «Мальчик – и хорошенький!»

…Говорят, держала себя хорошо. Во всяком случае – ни одного крика. (Все женщины: – Да вы кричите! – Зачем? – И только одна из них, на мое (Ну – как?) тихое:

«Больно!» – И нужно, чтобы было больно! – Единственное

умное слово. – Анна Ильинична Андреева.)

В соседней комнате сидевшие утверждают, что не знай – чту, не догадались бы».

«У Георгия было семь нянь: волчиха-угольщица, глядящая в леса[26], А. И. Андреева, В. Г. Чирикова, Муна Булгакова, Катя и Юлия Рейтлингер и «мать мальчика»[27] – А. З. Туржанская…

…Юлия (воплощение чистейшего долга во всей его неприкрашенности!), в черном платье с широченным ремнем, строгая до суровости, художница, сидела под окном и три часа подряд молча терла наждаком доску для иконы, чем окончательно сводила меня с ума…

…Муна Б. была как тень – напоминала, при ребенке, татарскую невольницу – «полоняночку», может быть даже ту, разинскую – черные бусы глаз создавали чадру…

В.Г. Чирикова (актриса, волжанка), старая актриса… просто – играла: молодую мать, молодое материнство, все равно чье, ее или мое… – А он – прехорошенький!.. А ноздри! ноздри! Прямо – Шаляпин! – наполняя комнату и, мне, голову, жестами рук в браслетах и всплесками юбок искусственного шелка, особенно свистящего.

…И. А. Андреева над ребенком была воплощением материнства… матерью-зверью и даже – зверем… самовластными, ревнивыми, нетерпимыми и нестерпимыми речами и советами доводя меня до тихих слез, которые я, конечно, старалась загнать назад в глаза, или слить с боков висков – помню даже тихий стук о подушку – ибо знала, что все это – от любви: ко мне, к нему, живому, и от жгучей, м. б. и неосознанной раны, что все это – не с нею и с нею уже никогда не будет…

«У А. И. к нему естественные чувства бабушки», – улыбаясь, сказал мне мой доктор.

Не бабушки – подумала я – бабушки отрешеннее. Не бабушки, а матери к невозможному, несбыточному, последнему. Сейчас – или никогда. И знает – что никогда…

…Вот Катя Р[28], высокая, белокурая, шалая. Всегда коленопреклоненная… Катя Р. с вечным мешком дружбы и преклонения на спине – через горы и холмы Праги – защитного цвета мешок, защитного цвета дождевой плащ – огромными шагами через горы и холмы Праги, а то и из Праги во Вшеноры – с чужими делами и долгами и заботами в мешке – носящая свою любовь на спине, как цыганки – детей…

Катя Р., так влюбленная в мои стихи…

…Она и Алю носила на спине, и даже галопом, по нешуточным горам Вшенор – огромную толстую десятилетнюю Алю, чтобы порадовать – ее, и что-то себе – лишний раз –

доказать…

Эта буря меня обслуживала – тихо, этот лирический водопад тихо звенел о стенки кастрюлечек и бутылочек, на огне страстей варилась еда…

«Мать мальчика». Мать мальчика Лелика, одинокая мать, брошенная отцом…

Ее белая комната, с ежедневно, до страсти, моемым полом, с особой, нечеловеческой страстью: в малярийные дни. Откроешь дверь и – в саду, т. е. в окне, в котором – яблоня, которое – яблоня, которую помню вечно-цветущей. Просто – райской. Кроватка. Плита, чище зеркала. К ней другие ходили за пирогами, я – за тайной – всего ее непонятно, неправдоподобно-простого существа. И с самотайной – себя. «Есть на свете, друг Горацио, вещи, которые и не снились мудрецам». Здесь Шекспир, конечно, о простых вещах говорит. «Мать мальчика» была именно такая «вещь», такой простоты – «вещь». Чего никто не понимал, кроме меня. (А она?)

Лицо Фленушки из «В лесах и на горах»… Отбушевавшая Фленушка. Бескровное лицо с прозрачно-голубыми – секундами непроницаемо-дочерна-синими глазами, ровно столько губ, сколько нужно для улыбки, – улыбка без губ.

Прямоносая, лицо молодой иконы…

…Верьте вяжущим вам фуфайки и няньчащим ваших детей!

Эти за вас – в огонь пойдут.

…Это было воплощение тишины, уместности, физической умелости. Как дома пироги у нее возникали сами – без рук или только с помощью рук – и даже не рук, а нескольких (заклинательных, навстречу и по желанию вещи) движений – так и здесь:

Переложить ребенка, перестлать мне, не прикоснувшись ко мне, постель – руки сами, вещи сами, магический сон, тишина…

Не забыть – нет, не няню, доброго гения, фею здешних мест, Анну Антоновну Тескову. Приехавшую – с огромной довоенной, когда-то традиционной коробкой шоколадных конфет – в два ряда, без картона, без обмана. Седая, величественная… изнутри – царственная. Орлиный нос, как горный хребет между голубыми озерами по-настоящему спокойных глаз, седой венец волос… высокая шея, высокая грудь, все – высоко. Серое шелковое платье, конечно, единственное и не пожаленное для вшенорских грязей, ибо – первый сын!..»

«И, наконец, возвращаясь к первой ночи – к ночи с 1 на 2 февраля – Чешка-угольщица. Первая. Никогда не забуду, как выл огонь в печи, докрасна раскаленной. (Мальчик, как все мои дети, обскакал срок на две недели, – от чего, впрочем, как все мои

дети, не был ни меньше, ни слабее, а еще наоборот крупнее и сильнее других – и нужна была теплица.)

Жара. Не сплю. Кажется, в первый раз в жизни – блаженствую. Непривычно-бело вокруг. Даже руки белые! Не сплю. Мой сын.

– О-о-о-о – угрожающе-торжествующе воет огонь, точно не в печи, а в самой мне…унося меня из самой меня дымоходом пищевода сквозь трубу шеи…

И торопливое сонное невнятное бормотание старухи – все на «ц» и на «эж» – чешки из той Богемии: Яна Жижки, Жорж Занд и «богемского хрусталя».

«…Если бы мне сейчас пришлось умереть, я бы дико жалела мальчика, которого люблю какою-то тоскливою, умиленною, благодарною любовью. Алю бы я жалела за другое и по-другому…

Аля бы меня никогда не забыла, мальчик бы меня никогда не вспомнил…

Буду любить его – каким бы он ни был: не за красоту, не за дарование, не за сходство, за то, что он есть».

И – чуть более поздняя запись:

«Мальчиков нужно баловать, – им, может быть, на войну придется».

Самофракийская победа

Марина Цветаева и Аветик Исаакян впервые встретились в Париже, осенью 1932 года, у друзей Цветаевой, Владимира Ивановича и Маргариты Николаевны Лебедевых, живших на тихой улочке Данфер-Рошро; вытекавшая из толчеи бульваров Распай и Монпарнас и вливавшаяся в сутолоку бульвара Сен-Мишель, улочка эта оказывалась внезапно тихой и голубой, как ручей с неприметным течением; тихой – потому что одна сторона ее стояла сплошным, в длину и ввысь тянущимся отвесом стены приюта глухонемых; голубой – от навсегда скопившейся в этом ущелье тени: солнце туда не заглядывало. Дома, выстроившиеся напротив стены, казались такими же безвозрастными и безликими, как она; время сгладило все выступы с их фасадов, стерло все краски. Незрячие окна, полуприкрытые деревянными ступенчатыми ставнями, вперялись в глухонемую стену.

Прохожих было мало, и они не спешили; сама улица, являвшая собой некую звуковую и цветовую паузу между кварталом художников и кварталом студентов, как бы вынуждал замедлить шаг и освободиться от напряжения…

Когда Цветаеву однажды спросили, какое место в Париже любит она больше всего, она – для всех неожиданно – назвала именно эту, такую, собственно говоря, невзрачную улочку: «За тишину и за Лебедевых».

В. И. Лебедев был редактором одного из выходивших (сначала в Праге, потом в Париже) «толстых журналов» на русском языке и публиковал щедро и безотказно цветаевские произведения, несмотря на то, что множеству из них, столь несозвучных эмиграции, труднее было пролезть в эмигрантскую печать, чем библейскому верблюду в пресловутое игольное ушко.

И коренастый, плотный, с веселыми разбойничьими глазами и черной разбойничьей бородой, деятельный и азартный Владимир Иванович, и кроткая, полная неторопливой и строгой грации жена его, Маргарита Николаевна любили Цветаеву и были ей подлинными друзьями; она чувствовала себя у них, в их темноватых пахнувших воском и книгами комнатах как дома, нет – лучше, распрямленное; слишком труден и нищ был ее быт, слишком удручал он ее бытие, чтобы именно у себя дома могла она быть вполне самой собой.

Не помню сейчас предысторию отношений Исаакяна и Лебедевых: по-видимому, знакомы они были давно. Во всяком случае в тот осенний день 1932 года Исаакян сидел за лебедевским обеденным столом не как новый гость, а как свой

человек, и слова, которыми он обменивался с хозяевами, показались мне привычными и о привычном; а может быть, причиной тому была вообще свойственная Исаакяну (по крайней мере на людях) сдержанная непринужденность. Мне довелось встречать его еще несколько раз в иной обстановке и в ином окружении, и всегда он на все и всех глядел серьезно, свободно и без любопытства, словно уже все перевидал и переслушал, словно все ему не впервой и не в новинку.

Да так оно, вероятно, и было.

Сдержанна была в тот день и Цветаева – как при каждом новом знакомстве. Иногда такой – держащей на расстоянии – оставалась она и в дальнейшем, навсегда замораживая собеседника; иногда раскрывалась с детской доверчивостью, но никогда – с первого взгляда; да и этим самым первым взглядом ярко– и светло-зеленых глаз – одаривала не сразу. Она сперва к собеседнику прислушивалась; вполоборота, опустив глаза, чуть нахмурившись – вникала в голос, впивалась в явный и тайный смысл слов, на слух определяя друга, недруга или равнодушного; задавала вопросы или отвечала на них сжато, холодно и чрезвычайно учтиво: то была обманчивая холодность и опасная учтивость – ненадежная завеса, из-за которой в любое мгновение мог сверкнуть язычок пламени.

Беседа – как и приличествует застольной – шла обо всем и ни о чем, казалось, она обтекала обоих поэтов, не задевая; потом стали возникать островки общих знакомств, дружб, пристрастий и неприязней – обоюдная разведка именами. Помню, как всплыло в разговоре имя приятельницы Исаакяна и Цветаевой – Саломеи Андрониковой-Гальперн, грузинки, петербуржанки и парижанки, о которой Исаакян сказал, что женщины ее породы рождаются раз в столетие, когда не реже, нарочно для того, чтобы быть воспетыми и увековеченными; конечно, вслед за Саломеей возник и Мандельштам с посвященной ей «Соломинкой», и история с «Историей одного посвящения». Помню, как заговорили о Бальмонте (он и его жена Елена были желанными гостями в этом доме) и как тетивой-струной – напряглась Цветаева: она к Бальмонту относилась ревниво-бережно и нежно, и все нежнее и бережнее по мере того, как он старел, слабел, седел, сдавал – и не выносила, когда начинали ругать его стихи. Ругали же, кажется, все, за исключением жены и дочери, ругали по той же инерции (анти-моды), по какой когда-то восхищались.

Но Исаакян горячо согласился с цветаевским, вперед, как щит, выброшенным утверждением о том, что Бальмонт – «божьей милостью» поэт, однако определил его творчество скорее как импровизаторски-певческое (менестрель) – несмотря на

изысканную завершенность формы многих его стихотворений, – чем поэтическое в современном смысле, подразумевающем работу, организующую стихию стиха. Стал вспоминать его в зените славы, с большой добротой расспрашивать о нынешнем его бедственном житье. И лишь под конец слукавил, заявив, что, когда бог создавал планету поэзии, то одних поэтов наделил сушей, а других – водой и, конечно же, для Бальмонта воды не пожалел. Впрочем – слукавил ли? Тут же добавил, что суша без воды – пустыня, а вода без суши, в конце концов – океан. Цветаевой понравилась исакяновская формула сотворения поэтического мира, и она впоследствии вспоминала ее и цитировала, находя чрезвычайно точной применительно к самой себе – не как к пустыне: к одинокой скале.

– Вот какие стихи я написала Бальмонту когда-то, – сказала она и прочла на память стихотворение, посвященное ему еще в России[29], и потом – на память же – мандельштамовскую «Соломинку», и еще несколько своих – ранних, блестящих, вольных, написанных в ту пору ее творчества, когда грозный бог поэзии еще не требовал от нее сжатости – той самой отжатости от лирической влаги – во имя предельной точности поэтической формулы – на самом крайнем острие человеческой правды.

Как они были красивы оба – он слушающий и она читающая – и как схожи в завершенности своего образа! Его изумительная крупная голова кавказца с орлиным носом и орлиным, спрятанным в стареющих грузных коричневых веках взором, его смуглая бледность, сила хребта и плеч под мешковатым сутулившим его пиджаком, крепость ладоней и нервность пальцев – и вековая усталость всего облика; и ее, все еще мальчишеская, все еще высоко занесенная головка с седеющими короткими, легкими волосами, с тонким, точным горбоносым профилем, четким ртом – и ее бледность – как при лунном свете, и внезапная распахнутость глаз – о, как она была безоружна и как обезоруживала, глядя в чужие глаза! – и ее, раз навсегда огрубевшие от быта руки, с бессменными серебряными кольцами, и египетская ее осанка!

Оба выглядели старше своих лет, оба были прекрасны. Потом, по ее настойчивой и ласковой просьбе читал он – на родном языке, который мы услышали в первый раз в жизни – читал стоя, из уважения к женщинам и к стихам – и все присутствовавшие, даже мы с моей подругой Ириной Лебедевой, девчонки, пронять которых в ту пору могло лишь недавно начавшее говорить и петь кино, – обомлели от звучания этого голоса, произносившего невнятные нам, запечатленные для нас слова, от звучания этих слов, после которых стало оглушающе-

тихо, как после взрыва.

– Господи, да вы – настоящий горный поэт! – воскликнула Цветаева.

– Да и вас не назовешь равнинным поэтом! – ответил он.

Помню один краеугольный разговор того дня – о зримом и скрытом, начавшийся с какого-то пустячного «а видели ли вы…», – часть того непрерывного разговора о творчестве, который Цветаева вела сама с собой и с другими – вслух и молча – всю свою жизнь. У нее было особое свойство – постигать описываемое ею (явление, состояние, предмет) и описывать постигнутое – не от формы к существу, а, наоборот, из глубины, из сути – к поверхности («хочешь писать дерево – стань им!»). Перевоплощаясь в то, о чем, в того, о ком писала, становясь как бы сердцевиной своей темы, она переставала видеть ее «со стороны», так же, как мы не можем со стороны, без помощи зеркала, увидеть свое лицо, не переставая в то же время создавать его выражения и ощущать их изнутри. Это внутреннее видение она возводила в один из принципов своего творчества («чтобы под ви́ками рождались таинства») – и отрицала приемлемость для себя «обратного метода» – от внешнего к внутреннему. Она любила слово-смысл и слово-музыку, любила самою музыку, именно за их способность выражать чувства, и была глубоко равнодушна к искусствам, пытающимся проникнуть в них путем зримого их отображения. Этот путь казался ей вторичным, иллюстративным, ибо зримое уже существовало и внешний мир уже был сотворен – «Венера Милосская – плоть в мраморе. Джиоконда – лицо на холсте. Душу же в них вкладываем мы, глядящие мы, поэты. Причем – каждый свою».

Конечно, сейчас, столько лет спустя, я не в состоянии воспроизвести этот разговор, вернее – спор, между Исаакяном и Цветаевой и не позволю воображению подменить память; знаю только, что Исаакян утверждал и отстаивал – впрочем, без всякой горячности, настолько это было для него очевидным, – равнозначность всех способов выражения творчества и равноценность искусств безъязыких искусству слова. Разговаривали в комнате Вл. Ив., выходившей на улицу. Цветаева стояла у окна и глядела в него – сперва рассеянно, потом, заинтересовавшись, достала из сумки свой старинный лорнет (она была близорука) и, в чем-то удостоверившись, подозвала Исаакяна: «Смотрите!»

Из окна, как на ладони, виден был приют глухонемых; на усеченной вершине холма, опоясанного той самой стеной, которая придавала такое унылое своеобразие улице Данфер-Рошро, находился утоптанный, как загон в зоопарке, приютский

двор. По нему носились, скакали, прыгали – беззвучно, как в страшном сне – подростки-мальчишки. Руки их, от плеча до кончиков пальцев, были в непрестанном движении и казались многажды вывихнутыми, вывихнутыми казались и лица, искажаемые отчаянной мимикой – все было до ужаса преувеличенным и до ужаса неполноценным…

– Вот таким я вижу балет, – невинно сказала Цветаева. – Или, если заставить «их» замереть – скульптуру. Искусства не моего измерения.

Через несколько дней они встретились в Лувре: Исаакян хотел отомстить за «глухонемых», и Цветаева охотно согласилась, при условии, что месть будет краткой, не на измор. Исаакян поклялся в этом.

Я отправилась вместе с матерью – помочь ей найти главный вход в этот музей-дворец, к которому каждый из французских королей пристраивал свое собственное крыло со своим собственным парадным входом, и запутаться среди всех этих величественных подъездов было немудрено. К тому же мне, в те годы учившейся на курсах при Лувре, не терпелось блеснуть своими (неглубокими и совсем свежими) познаниями в истории искусств. Но услуги мои не потребовались.

Исаакян уже ожидал нас в просторном, по-соборному гулком, по-больничному светлом вестибюле – совершенно пустынном. Лишь в левом углу его завитая, как пасхальный барашек, старушка вязала над прилавком с дорогими репродукциями для иностранцев; иностранцев же не наблюдалось ни одного. В этом прославленнейшем из хранилищ мирового искусства посетители (что трудно себе представить сейчас, у нас) – собирались лишь в «бесплатные» дни, по четвергам и воскресеньям, да еще американцы появлялись повзводно, под руководством гидов.

В правом углу вестибюля, у голых вешалок, томился швейцар.

Мы пошли, не останавливаясь, вдоль Денонновой галереи, сквозь строй гигантских саркофагов, подробно украшенных пляшущими богинями, разящими богами, резвящимися амурами, тритонами и нереидами («только не глядите по сторонам, Марина Ивановна!») – шли мимо гробоподобных витрин, тускло повторявшихся в узорном дворцовом паркете, по которому одинокие наши шаги кощунственно грохотали, как подковы, шли, пока весь этот музейный Аид не вынес нас – Исаакян и Цветаева – впереди, как Орфей и Эвридика, – к великолепному мраморному каскаду «Большой лестницы», ведшей к залам живописи.

Лестница эта, увенчанная мозаичным куполом, была чудесна сама по себе, но главным ее чудом было то, что вся она, во всей

стройности и строгости своего подъема, во всем праздничном, ярком чередовании света и тени на полированных плоскостях ее ступеней служила лишь пьедесталом стоявшей на верхней площадке фигуры.

То была статуя Самофракийской победы – к ней-то и подвел Исаакян Цветаеву – и остановил, положив ей на плечо ладонь, ибо Победа эта была столь огромна, что легко было, осознав лишь ее подножие – из каменных блоков слаженный нос корабля-триремы, – обогнуть его, так и не взглянув вверх.

Обезглавленная и безрукая, грубо изувеченная христианским варварством, оббитая и выщербленная прошедшими по ней тысячелетиями, ликующая богиня остановилась на бегу, чтобы протрубить победу, и триста лет до нашей эры отбушевавший ветер облепил ее юное, торжествующее тело складками одежды, влажной и отяжелевшей от брызг прибоя, затрепетал в ее широко и сильно раскинутых крыльях, ероша их мраморные перья.

Все в ней было движение, упругость, устремленность; все было живо; все было цело, цельно и неодолимо в этой фигуре, поднявшей и согнувшей в локте невидимую руку, чтобы, приложив к невидимым устам незримую трубу, возвестить на века вечные торжество человеческого духа, мужества, гения.

– Ну как, Марина Ивановна? – спросил Исаакян.

– Я давно ее знаю и люблю, – ответила она, поглаживая шершавую, в мелких оспинках, желтоватую от времени поверхность каменной ткани. – И все же, «в начале было Слово», – добавила она, помолчав.

Были еще встречи с Исаакяном; он приезжал к нам в Медон под Парижем; бывал и у Лебедевых, где раза два встретился с трогательным, больным Бальмонтом и побратски расцеловался с ним и внимательно и всерьез слушал его, терявшие связность, разбредавшиеся речи. Были еще встречи-воспоминания и встречи-споры. Но мне было бы трудно, пожалуй, невозможно рассказать о них не только теперь, когда нет в живых никого из них – ни Цветаевой, ни Исаакяна, ни Бальмонта, ни Лебедевых, когда и улочка Данфер-Рошро переменила название и облик, но и в те времена, когда все были живы и все было по-прежнему, – потому что в памяти все перекрылось тем ослепительным видением: двух поэтов, двух горцев поэзии – осененных бессмертными крылами Ники Самофракийской.

notes

Примечания

1

Строка из стихотворения М. Цветаевой «Писала я на аспидной доске…» (1920). «Ты – уцелеешь на скрижалях» – относится к имени мужа, обозначенному на внутренней стороне обручального кольца.

2

Елена Усиевич, литературный критик.

3

«Тучков-четвертый» – Александр Алексеевич Тучков, генерал-майор, погибший в Бородинском сражении.

4

В других воспоминаниях А. Эфрон эта история излагается иначе.

5

Цикл обращен к Ю. А. Завадскому.

6

Средневековый французский фарс.

7

Из пьесы М. Метерлинка «Синяя птица».

8

Марина Цветаева. Конец Казановы.

9

Конверт со стихами Марины Цветаевой.

10

Гостиница-общежитие, в которой жили Эренбурги по возвращении из Крыма.

11

А. Г. Вишняк.

Скрябиной.

13

Так Пастернак обыгрывает название книги Цветаевой «Версты».

14

Письма.

15

Пешкова.

16

«С той же лампою – вплоть! – лампой нищенств, студенчеств, окраин…»

17

Мне – десять лет!

К. Б. Родзевич.

19

1960 год.

20

Франтишек Кубка.

21

Повесть Честертона.

Студенческий журнал «Своими путями».

Вахтангова.

Волошиным.

«Ариадну».

26

Нанятая в помощь Марине и ушедшая через неделю!

27

Моего маленького товарища, Олега.

28

Рейтлингер.

29

Бальмонту

Пышно и бесстрастно вянут
Розы нашего румянца.
Лишь камзол теснее стянут.
Голодаем как испанцы.
Ничего не можем даром
Взять – скорее гору сдвинем!
И ко всем гордыням старым —
Голод: новая гордыня.
В вывернутой наизнанку
Мантии Врагов Народа
Утверждаем всей осанкой:
Луковица – и свобода.
Жизни ломовое дышло
Спеси не перешибило
Скакуну. Как бы не вышло
– Луковица – и могила.
– Будет наш ответ у входа
В Рай, под деревцем миндальным:
– Царь! На пиршестве народа
– Голодали – как гидальго!

Ноябрь 1919 г.